

Николай Климонтович

СПИЧ

роман¹

Москва
Издательство «БПП»
2010

ББК 84 (2Рос.-Рус.)

К 49

Редактор Ольга Борисова

Вёрстка и дизайн web-книги Валерий Яр

Климонтович Н.Ю.

К 49 Спич: роман /Николай Климонтович. — М.:

Издательство «БПП», 2010. — 134 с.

ISBN 978-5-901746-11-0

Канва повествования — переплетение судеб двух очень разных персонажей, олицетворяющих два полярных способа проживания жизни. По ходу повествования читатель поймет, что перед ним — роман-притча о вдохновении, обогащении и смерти.

© Климонтович Н.Ю., 2010

© Издательство «БПП», 2010

В конце ноября или в начале декабря Евгений Евгеньевич уехал из Москвы *в деловую поездку*, как он обмолвился, куда-то на восток бывшей империи. И пропал.

Он уезжал, судя по всему, поспешно, оставив недоделанными необязательные дела и невыполненными случайные обязательства, какими мы все обрастаем после сорока, ближе к пятидесяти.

Поначалу это исчезновение никому не показалось удивительным: Евгений Евгеньевич никогда не отличался обязательностью, но был, напротив, скорее рассеян. Забывал запереть входную дверь, хоть и опасался воров. Принимался, топоча ногами, искать очки, когда они были у него на лбу. Мог позвать знакомую пару на обед, не назначив дату, а вспомнить о своем приглашении только через год, когда на него и обижаться перестали. Но с другой стороны не был и легкомыслен, скорее осмотрителен.

Его приживал и confident, секретарь по совместительству, Павел, — Паоло для своих, единственный человек, кроме отца, конечно, к кому Евгений Евгеньевич прилюдно обращался на *ты*, — успокаивал знакомых. Говорил, что *Женечка* — так называли Евгения Евгеньевича в Москве, это имя было паролем, никому в голову не приходило спросить *а кто это, Женечка* или *которая это Женечка* — время от времени присылает эсэмэски или звонит. И с обидой, плаксиво прибавлял, манерно растягивая слова, что деньги, которые *он* оставил, уже *почти кончились*. Так продолжалось вплоть до

конца ноября, потом связь прервалась: последний звонок был помечен в телефоне Паоло вторым, что ли, декабря.

По поводу этого исчезновения высказывались сначала иронические, с подмигиваниями, но со временем становившиеся тревожными предположения. Точнее, тревожились два-три близких Евгению Евгеньевичу человека, остальные же обменивались с притворным сожалением сплетнями того сорта, какие передают друг другу более или менее здоровые люди при тяжелой болезни известного им только понаслышке публичного персонажа. Праздные предположения эти были одно другого скабрее, но, как сказано, постепенно стали окрашиваться в тона зловещие. И это не удивительно: в определенных кругах Евгений Евгеньевич был не просто известным, но весьма примечательным человеком.

Для тревог были основания. Эстет, театровед, киноман, человек *вполне себе оранжерейный*, как он сам себя рекомендовал, *виньетка на полях культуры*, Евгений Евгеньевич не был приспособлен к долгому и одинокому, опасному, по всей видимости, путешествию, в какое пустился. К тому же, никто, даже Паоло, в точности не знал, на кой черт, собственно, Женечка потащился в эту дикую даль, в край Гога и Магога.

Среди какой-то светской болтовни, когда помимо прочего обсуждалось и это странное происшествие, одна дама брякнула, что, мол, Евгений Евгеньевич всегда обожал Пазолини. Что было преувеличением, то же можно было сказать и о его привязанности к Висконти, Фасбиндери, Гринуэю, Дзеферелли или даже Берталуччи. А, с натяжкой, и к Альмодовару. Только не к Таран-

тино или фон Триеру, этих недолюбливал, отчего-то, как и Озона, кстати. Но имя было произнесено, и все вдруг вспомнили о страшном конце экстравагантного итальянца. Что ж, круги, в которых вращался Евгений Евгеньевич, всегда были готовы к испугу и по куда более мелким поводам. И вот, по закону, что ли, первобытной партиципации, все вдруг сделались готовы увериться, что, как и его кумира, Евгения Евгеньевича — убили. И погиб он, шел шепот, быть может, и не на пустынном пляже под колесами мотоцикла возмущенного несостоявшегося любовника из рабочего квартала, оставшись лежать на мокром песке в луже крови с десятью сломанными ребрами, но наверняка и эта жизнь кончилась какой-нибудь страшной и необыкновенной смертью...

Я знал его шапочно. Несколько раз ужинал в ресторане Дома кино за соседним столиком, и мы раскланивались. Встречал иногда в дни пасхального разговения в доме моих соседок по Верхней Масловке сестер Маши и Наташи Достоевских. Но *не тех Достоевских*, как говорили сестры наперегонки при всяком случае с тем раздражением, с каким подросток Долгорукий отрецивался от княжеского происхождения. Однако изображение Федора Михайловича с тяжелым лбом, скорбными складками запавших щек и в арестантском халате висело-таки у них в квартире, в тесной прихожей, над зеркалом. На самом деле сестры носили фамилию *Достоевских*. Но когда о них говорили во множественном числе, а порознь о них никто никогда не говорил, то выходили они *Достоевские*, что грамматически неверно, их фамилия во множественном числе не меняет окончания, но кто у нас теперь уважает грамматику.

Собственно, сестры являлись едва ли ни единственным для меня источником скудных сведений частного свойства об исчезнувшем театроведе. Были, конечно, и другие более или менее далекие общие знакомые: разудалая радио ведущая, княжна отчего-то, по фамилии Широкая, а также ее редактор и подруга, тоже выдававшая себя за графиню, обе внучки предводителей союза советских художников разных сталинских лет. Была еще одна журналистка по фамилии Тихая, тоже внучка, но большевистского поэта-еврея, выбравшего себе некогда этот псевдоним, ставший фамилией. Эта самая Тихая была предметом постоянных шуток в узких кругах из-за дедова псевдонима, поскольку была крупных размеров, говорила громким баритоном и обладала буйным нравом, особенно в подпитии. *Тихая и нежная*, с удовольствием говорили о ней за глаза *испытанные остряки*.

Не стоит удивляться, что общими знакомыми у нас были исключительно дамы: Евгений Евгеньевич, как многие люди его предпочтений, для светского общения выбирал не мужские компании, но приятное женское общество. Вот и все мои источники. Впрочем, еще и сбивчивый рассказ одного моего приятеля детства, фотографа Сергея по дворовой кличке Членок, случайно повстречавшего Евгения Евгеньевича в скифских степях, но об этом ниже. Ну и слухи, конечно, сплетни, домыслы. Так что я восстанавливал эту историю из обрывков и лоскутов, и за точность деталей не могу поручиться. Но канва событий была именно такова.

1

На завтрак подали едва теплые яйца всмятку, а к скорее холодному, чем теплomu жидкому кофе — пирожок с красной начинкой. Евгений Евгеньевич сел на постели, заткнул салфетку за ворот шелковой в зеленый цветок на черном фоне пижамы, яйца отодвинул, надкусил пирожок: начинка была острая, красный перец и что-то бобовое, пахла грибами. Кажется, нечто подобное давали в гостиничном ресторане, но тогда он есть не стал, так, ковырнул. Потом, впрочем, привык. Более всего начинка эта напоминала приправу к блинам, которые он заказал как-то по незнанию в Вашингтоне в мексиканской харчевне. Но не такая огненная, конечно. Впрочем, о Вашингтоне теперь лучше было не вспоминать.

Официант, средних лет неулыбчивый *кыргыз*, как называли обитателей этих мест старинные русские путешественники, со стальными зубами, был все тот же, молоденьких татарчат после рокового происшествия теперь к Евгению Евгеньевичу уж не присылали. Официантами и охранниками в отеле служили *тартареи*, *тартары*, так называли обитателей бескрайних диких восточных степей в европейском Средневековье по созвучию с греческим Тартарос, *и не в тартарары ли я провалился*, думал наш бедный Евгений. Горничные тоже были из местных, причем все одного какого-то племени, похожие на цыганок. Как бы низшей касты, у которой, догадывался Евгений Евгеньевич, не так сильны были устои и не слишком строги восточные запреты...

И салфетка на тележке была несвежей. И пульт кондиционера так и не поменяли — у этого перестала работать кнопка регулировки температуры, и в спальне было холодно. И позвонить в Москву он не мог — в номере аппарат не соединял с другими городами, а мобильного телефона он лишился. *И сколько крошек в постели*, вспомнил Евгений Евгеньевич, хотя Набокова не любил. В юности не любил, поскольку все любили, было как бы обязательно; потом не любил за то, что и впрямь оказался банален. По свидетельству сестер Достоевских Евгений Евгеньевич как-то выразился в том духе, что, мол, в конце концов, неустанно бороться с *poshlost*, да еще и попытаться внедрить это слово в английский язык за неимением эквивалента, мог только пошляк. *Пошлец, как говорили прежде. Ибо настоящая пошлость, вроде песенок, которые голосит пожилая певичка, про голубя, бьющегося в стекло, или про любовника, холодного как айсберг, бывает подчас обворожительно вульгарна, не так ли...*

Жуя свой пирожок с красной начинкой, Евгений Евгеньевич уже в который раз посмотрел с отвращением на аляповатую чеканку, висевшую на стене напротив постели: какой-то, что ли, Ходжа Насреддин на ослепшироким жестом показывал на дымящийся казан. Давно надо было попросить перевесить эту дрянь хоть в гостиную, но Евгений Евгеньевич все церемонился, боялся задеть обостренные национальные чувства гостеприимных аборигенов.

Татарин, так упрямо называл его про себя Евгений Евгеньевич, поскольку был слаб в этнографии, в отличие от многих из обслуживающего персонала отеля, тоже,

как и тот мальчик, вполне сносно и внятно говорил по-русски. Быть может, попросить его перевесить, но, скорее всего, украшение интерьера проходило не по татарскому официантскому департаменту. Своим чутким носом Евгений Евгеньевич уловил, что от этого пахло не анашой, но *кикидыком*, как называл для себя Евгений Евгеньевич вонючую жвачку, которую здесь постоянно жевали все местные мужчины старше двадцати пяти. У него еще будет время узнать, что называется жвачка *нас*, это смесь грубо порубленного садового табака, золы и птичьего помета.

Со своим арестантским положением Евгений Евгеньевич уже почти смирился. В *его Рэдингской тюрьме*, как ему нравилось называть свое комфортабельное узилище про себя, многое за последние пустые дни, показавшиеся такими долгими, ему стало даже симпатичным, стокгольмский синдром. Право, жизнь в золотой клетке имеет свои плюсы, подтрунивал Евгений Евгеньевич над собой. К тому, не всегда ж его будут держать в этом номере-люкс отеля *Halva Palace* — номере, который здесь называли отчего-то *президентским*, хотя отель наверняка не видел ни одного президента даже какой-нибудь местной автономии. Потому что ни одному президенту не пришло бы в голову посещать этот заброшенный край, этот угол империи, к тому же давно развалившейся. Что ж, оптимистично думал Евгений Евгеньевич, он выполнил все, что от него требовалось. Получил свое. А досадное недоразумение, которое его здесь задержало, как-нибудь разрешится же. И он убудет восвояси.

2

Чтобы понять, как мог осмотрительный Евгений Евгеньевич согласиться на эту в высшей степени нелепую авантюру, надо кое-что знать о его текущих московских обстоятельствах. Евгений Евгеньевич, как и всякий порядочный человек, был в долгах. *Как в шелках*, прибавлял Павел, любил банальности. Он был должен полторы сотни тысяч долларов очень богатому углепромышленнику по имени Валентин Маклакчук, для Евгения Евгеньевича — Валя.

Маклакчук был больше, чем богатый человек, но и не совсем олигарх. Так, магнат, *воротила*, как говорили некогда. Выученик университета Патриса Лумумбы, *птенец гнезда лумумбова*, как рекомендовал его за глаза Евгений Евгеньевич, экономист по специальности, он после учения распределился на родную Украину и умудрился нарубить там столько угля, что ему хватило вернуться в Москву, купить особняк в Серебряном Бору и начать коллекционировать *Бентли*. Кроме того, походя, он прикупил в подарок жене Оксане одну из центральных российских газет промежуточного общественно-политического направления, которую та мгновенно сдвинула вправо и превратила в рупор прозападного либерализма, который в то время был в моде на их с мужем родине, но с упором на фитнес, шейпинг и шопинг, конечно.

То, что Евгений Евгеньевич стал вести в этой газете колонку, посвященную не столько событиям в мире культуры, сколько светским сплетням, еще не объясняет, каким образом театровед был вхож в закрытый клуб

российских богатеев. Но и загадки это не представляет. Да и события развивались в обратном порядке: будучи завсегдатаем этого клуба, здесь Евгений Евгеньевич и познакомился как-то с Оксаной Маклакчук, получил предложение писать для ее газеты, а потом уж был представлен ее мужу.

Некогда привел Евгения Евгеньевича в этот клуб один кремлевский царедворец, основатель и спонсор партии, *позиционирующей себя*, как сделалось отчего-то принято выражаться, оппозиционной. Это был витиеватый персонаж, коллекционер попугаев, сам похожий на эту птицу, высокий, худой, клювоносый. Говорили, его коллекция, которую он держал на вилле в Архангельском, — самая большая в Европе, тянет миллионов на пятьдесят. Он, говорили, платит за новый редкий экземпляр до трехсот тысяч, а кормит своих питомцев с собственного языка специально прожаренным зерном, утверждая при этом, что попугай — единственное существо на свете, кал которого не пахнет. Злые языки — в столице ведь сплетничают даже жаднее, чем в какой-нибудь эмиграции — поговаривали, что этим калом он и сам питается: *про-кремлевская, острили, диета...*

Евгений Евгеньевич и магнат Маклакчук, похожий на одного из Репинских то ли запорожцев, то ли бурлаков, сразу же испытали прилив взаимной симпатии. И дело не только в том, что Евгения Евгеньевича несколько пьянил аромат больших денег, исходивший от этих холеных господ, в большинстве только вчера поднявшихся из грязи. Люди предпочтений Евгения Евгеньевича есть везде, отнюдь не только в кругах артистических, как полагает непросвещенная публика. И, конечно же, в

высших промышленных, финансовых и политических эшелонах их много больше, чем, скажем, в солдатских казармах. Разумеется, все они женаты, имеют детей, ведут по преимуществу респектабельный образ жизни, что не мешает им на раутах, на горных курортах и в закрытых ресторанах мгновенно опознавать друг друга. Отчасти это и объясняет, отчего магнат Маклакчук так легко одолжил Евгению Евгеньевичу значительную, пусть и пустяковую для него самого, сумму. Сущие копейки, мелочь для этого круга. Впрочем, шепнул он Евгению Евгеньевичу, *дело это наше, мужское, и Оксане не нужно об этом знать.*

Деньги, понятно, нужны всем, но Евгению Евгеньевичу они были нужны особенно. Траты на невинную страсть к антиквариату были сравнительно невелики: Евгений Евгеньевич не только знал наперечет все московские лавчонки этого толка, но и чувствовал себя как рыба в воде на парижском Блошином рынке, тем более что сносно говорил по-французски. Он разбирался в антиках подчас лучше самих московских антикваров и не раз за сравнительный бесценок покупал вещи, которые после небольшой реставрации у него приняли бы обратно втридорога. Домработница-молдаванка работала, считай, задаром. Массаж, сауны, косметичка и визажист влетали, конечно, в копеечку, но основные расходы Евгений Евгеньевич нес на содержание, как говорили некогда, своих *присных*, а проще — прихлебателей. И на заграничные путешествия.

На своем содержании он имел чуть не с десяток взрослых человек. Ну, Паоло не в счет. У Евгения Евгеньевича был семидесятилетний отец-кинорежиссер,

который много лет назад потерял работу, плюнул на свою неверную профессию, но продолжал исправно, раз в два-три года жениться. Ему нужно было подкидывать. К тому же, в одном из прошлых браков отца — хорошо только в одном — у Евгения Евгеньевича образовался братишка, и этого тоже нужно было поддерживать.

Но это были пустяки по сравнению с тратами на возлюбленных. Рассматривая себя в зеркале, Евгений Евгеньевич видел, что стареет, но не паниковал и не впадал в истерику, как это свойственно дешевым педовкам. Лишь старался с мудрой грустью много прожившего и усталого человека преклонить голову перед неумолимым током времени. *И не сдавался*, конечно. Он иронически вспоминал папашу Карамазова, который объяснял недогадливому Мите, отчего ему, старику, нужны деньги: *скоро они по доброй воле сами уж не пойдут*. Одному своему избраннику Евгений Евгеньевич целиком оплатил обучение в Тимирязевской академии — парнишка любил растения и мечтал стать агрономом. Другому купил место бармена не где-нибудь, но на Старом Арбате. Наконец, под нынешнего, Валерку, пришлось приобретать дорогую машину, поскольку, как выяснилось, у парня — мечта стать автогонщиком. Вот на эту самую машину, приобретенную, конечно, на собственное имя, деньги и понадобились. Да еще заплатить кое-что по неотложным обязательствам. Сам Евгений Евгеньевич не только не водил автомобиль, но боялся техники, даже в лифт входил с опаской, и парень получил доверенность, так что теперь у Евгения Евгень-

евича образовался и автомобиль, и личный шофер. И немалый по его меркам долг.

Евгений Евгеньевич отчетливо понимал, что покрыть этот долг он никогда не сможет, потому что никакими рецензиями и статьями, разъездными лекциями и сидением в фестивальных жюри он эту сумму не соберет. Даже если сто лет писать Оксане Маклакчук колонки бесплатно — не расплатиться. Но также и понимал, что чем богаче люди, тем менее они склонны долги прощать — на этот счет у него иллюзий не было. А значит так или иначе, но этот долг рано или поздно придется оплатить. То ли из-за значительности суммы, то ли потому, что Евгений Евгеньевич понимал, что у него в запасе уже нет ста лет, этот долг стал его тревожить: прежде подобные пустяки не слишком его заботили. Ночами, под утро, в бессонницу ему вдруг стали приходить в голову нелепые фантазии. Вот получил бы он наследство. Но от кого и откуда? Или — не сбежать ли, скажем, в Италию, *отжиться*, так он выразался, по аналогии, наверное, с *отдохнуть* или с *отсидеться*. А что, сдать его четырехкомнатную квартиру в Большом Каретном переулке тысячи за три-четыре *условных единиц*, идиотское ханжеское выражение, нанять домик с розовым садиком где-нибудь под Флоренцией... Нет, и там найдут.

3

В тот вечер Евгений Евгеньевич пришел в клуб совсем разбитым. И не пошел бы, но погнала одна нелепая, но неотвязная мысль: если он не будет *появляться*,

то Маклакчук чего доброго подумает, что *он меня бега-ет*, как магнат-украинец однажды выразился при Евгении Евгеньевиче про какого-то другого своего должника.

Евгению Евгеньевичу, как человеку мнительному, стало казаться к тому же, что Маклакчук в последнее время стал с ним прохладнее. Было томительно. В таких случаях Евгений Евгеньевич бормотал под нос:

*На Грузию ложится мгла ночная.
В Афинах полночь. В Пятигорске грозы.
...И лучше умереть, не вспоминая,
Как хороши, как свежи были розы.*

Любимое.

Публика была обычная. Генералы спецслужб, банкиры, один бывший хоккеист-чемпион, подавшийся в высокие спортивные бонзы, одна эстрадная звезда мужского, судя по пиджаку, пола, один отставной премьер-министр, очень раздобревший в последний год, потому, быть может, что не умел и не желал учиться кататься на горных лыжах. Вокруг последнего собрался кружок, и дамы наперебой спрашивали его, как экономиста-эксперта, в какой валюте и в каком банке в дни теперешней рецессии держать сбережения. *В чулке, в чулке*, отмахивался тот, *а лучше потратьте, купите шубу...*

— Ой, да куда ж мне повесить столько шуб! — воскликнула с испугом самая молодая из дам. Это была бывшая популярная певица, начинавшая некогда в ресторане, но об этом теперь никто не вспоминал, потому

что недавно она вышла замуж за члена совета директоров крупного банка. Ее муж молчал. Жена не знала и не должна была знать, что у банка мужа дела плохи, и как раз сегодня он хотел переговорить с бывшим премьером, чтобы тот поспособствовал получить правительственный кредит.

Маклакчук сегодня был без жены. И не обращал на Евгения Евгеньевича никакого внимания: так, кивнул издалека. Евгений Евгеньевич взял с подноса проходившего мимо официанта бокал брюта и сделал пару больших глотков, хотя брют терпеть не мог, любил полусладкое. И решил, что на ужин не останется: болела голова, потягивало печень, подташнивало. И тут Маклакчук взял его под локоть.

— Женечка, хочу вас представить одному человечку. Случай редкий, в Москве он бывает не часто. Настоящий босс. Правда, он у нас немножко того, — отчего-то подмигнул Маклакчук, но, заметив тревожное удивление Евгения Евгеньевича, пояснил, — немножко татарин. Ну, так ведь и у вас в предках числятся татарские ханы.

И Евгений Евгеньевич покраснел бы, если б сохранил такую способность: как-то по глупости, из снобизма что ли, он похвастался Маклакчуку своими предками по материнской линии, объясняя приятную смуглость своей кожи и черноту уже седеющих волос, на счет которых никак не мог принять решение: красить — не красить.

— К тому же, он прославился тем, что в каких-то теледебатах публично назвал козлом одного средне-

азиатского премьер министра, — продолжал Маклакчук, понизив голос. — Хорошо не свиньей.

И подвел Евгения Евгеньевича к жадно жующему тарталетку с черной икрой низкорослому господину, весьма плотному. У того был бритый череп, на котором отчетливо белел шрам, похожий на раздавленную медузу, и треугольные желтые глаза хищной кошки. Он поводил тарталеткой в воздухе и, кажется, говорил сам с собой, то и дело кивая. На фоне чопорной клубной публики, кое-кто был и в смокинге, выглядел он экзотично: в холщевых свободных штанах, в цветастой, не иначе как китайского производства, рубашке навыпуск и в сандалиях на босу ногу. Это было тем более диковинно, что на дворе стоял поздний ноябрь.

— Вот, знакомься, Равиль, это — Женечка, Евгений Евгеньевич, я тебе о нем говорил. Уверяю, это тот, кто тебе нужен.

— Евгений Евгеньевич, — невнятно, коротко кивнув, согласился татарин, но руки с двойным золотым кольцом, красного и белого металла на безымянном пальце, руки, поросшей крупным рыжим волосом и занятой тарталеткой, не подал. И сам представился: — Равиль.

Маклакчук оставил их вдвоем.

— Вы, линейно, писатель, — не спросил, а констатировал Равиль. Какой смысл он вкладывал в слово *линейно*, невозможно было понять, но, по-видимому, это означало одобрение. Где его подцепил этот грубый татарин, не иначе как при просмотре передачи *Очевидное-невероятное*. Равиль говорил с едва заметным акцентом, даже не восточным, провинциальным. Со сло-

варным запасом, видно, у него было неважно. От него шел запах опасности, который Евгений Евгеньевич узнавал за версту. Да и безумцев боялся как огня.

— Скорее журналист, — осторожно сказал он.

— Какая разница. Вы, линейно, золотое перо. — Татарин поднял вверх короткий указательный палец с неровно стриженным ногтем. — Послушайте, у меня есть для вас предложение, оно будет вам интересным.

Откуда у этого типа такая уверенность, что его предложение будет мне интересным, подумал с раздражением, отметив неправильную речь нового знакомого.

Татарин нагнулся в уху Евгения Евгеньевича и прошептал:

— Работа пустяковая, но гонораром вы останетесь довольны. Сто тысяч в месяц вас устроит? Все организационные расходы за мной. Вот моя карточка, мой офис на Арбате. Знаете, где здесь Арбат?

— Знаю, — подтвердил Евгений Евгеньевич, даже не изумившись нелепости вопроса. И, желая уточнить:

— А что, работа займет больше месяца?

— По обстоятельствам. Вылетаете завтра утром. Билет и деньги на первое время получите в офисе у моего секретаря.

Равиль обтер о свои холщевые штаны икру, прилипшую к пальцам, запустил руку в карман и протянул визитную карточку, отпечатанную золотом по черному, *как на могильной плите,* мелькнуло у Евгения Евгеньевича. И отвернулся. *Так вот каким образом Маклакчук решил получить с меня долг,* понял Евгений Евгеньевич и испытал острое желание бежать без оглядки. Все бы-

ло подстроено, все за его спиной решено коварным угольным бароном. Евгений Евгеньевич сунул карточку в нагрудный карман пиджака, на дрожащих ногах едва добрался до туалета, и там его стошнило от брюта, которого не приняла его печень, но, прежде, конечно, от страха.

4

Для пущей ясности нам следовало бы открыть подплеку этой странной истории и собрать на Рафиля Ибрагимова своего рода досье. Ходить далеко не пришлось, в интернете оказалось достаточно материала, выдержанного, правда, в жанре агиографии. Самый подробный очерк жизни восточного магната принадлежал перу областной журналистки и был написан несколько лет назад. В повествование вплетены немногословные интервью, которые автор взяла у бывших одноклассников Рафиля. Я постарался выудить из этого жития зерна, отбросив плевелы явной лести.

Будущий миллиардер родился в оседлой семье в населенном пункте, носившем нелепое название им. Первого Мая, позднее поселок переименовали более удобоваримо — в Первомайский. То есть родился не в юрте, которыми зимой бывала уставлена стылая степь вокруг поселка, но в одной из глинобитных хибар самой бедной здесь махали. Он был вторым по старшинству мальчиком в семье, за ним шли еще три девочки. Своего отца он не знал. Впрочем, мало кто в поселке помнил этого человека, носившего, отчего-то имя

Филипп, что довольно непривычно для татарина. Странно и то, что Равиль, как сказано, был не единственным ребенком в семье, а значит, этот самый Филипп должен же был время от времени появляться хоть для зачатия очередного отпрыска.

Впрочем, позже мне стало известно, что помимо отправления супружеских обязанностей, этот самый Филипп занимался и воспитанием детей, как он это понимал. А именно читал им вслух Коран. Это была старая драгоценная книга дореволюционного издания, доставшаяся ему от его отца. Читал он по-русски, хоть в книге и был параллельный арабский текст, но арабского Филипп, конечно, не знал. Он выбирал места наиболее назидательные, и Равилю с детства запомнилось такое, из семнадцатой Суры, таинственно называвшейся *Перенес ночью*:

*— И не ходи по земле горделиво: ведь ты не про-
сверлишь землю и не достигнешь гор высотой!*

Равиль Филиппович знал этот стих наизусть, потому что решил, что старой книге не следует слишком-то доверять: современная жизнь такова, что поступать следует с точностью до наоборот.

Соблазнительно было бы нафантазировать, что отец Равиля был человеком степи и имел несколько семей в разных местах, куда заносила его жизнь вольного кочевника. Для пущей стройности биографии магната можно бы предположить, что его отец был разбойником, конокрадом, угонял чужих овец, присваивал верблюдов. А также держал под контролем систему арыков, собирая дань с оседлых декхан, издавна выращивавших здесь в наиболее пригодных низинах рис и даже тощий

хлопок. И могила его неизвестна. На самом же деле, на что глухо намекает авторша, этот самый Филипп был горький пьяница и бродяга, и похоронен на поселковом кладбище. Здесь необходимо обратить внимание на этот мотив пусть не полного бастардства, но сиротства при живом отце: нет ли здесь завуалированного намека на чудесное рождение героя. Впрочем, автор этого жизнеописания вряд ли думала о таких тонкостях, лишь добросовестно записывая слова редких доживших до наших дней сверстников Равиля. Эти интервью давались ей, по-видимому, с большими трудами: героический интервьюер должна была дожидаться, пока ее собеседник выпил лишь стакан водки, а не всю бутылку, которую она ему поставила, и этот промежуток был краток.

Дальнейший рассказ тоже ложится в канон апокрифа. Скажем, то и дело упоминается о необычайной силе и ловкости подраставшего героя, как положено, случайно и неожиданно, к вящему удивлению матери и односельчан, обнаружившим себя. Причем о первом подвиге сказано вскользь, что говорит лишний раз о том, что авторша плохо чувствовала законы избранного ею жанра. Речь идет о том, как девятилетний Равиль в одиночку извлек из грязи намертво застрявший в ней грузовик: что-то подложил, налег плечом. Упоминание об этом эпизоде тонет в описаниях кулачных боев Равиля, из которых он всякий раз выходил победителем, о чем на высоких нотах повествует восхищенная журналистка. Здесь она нажимает на то, что с молодых ногтей Равиль зарекомендовал себя лидером: надо понимать

так, что уже лет в тринадцать-четырнадцать он был вожаком поселковой шпаны.

Очень важны еще два мотива, которые развивает автор очерка. Первый — это неукоснительная приверженность Равиля трезвости. Нет, дело здесь не в законах шариата, родной поселок Равиля Первомайский в те годы — конец шестидесятых — поголовно спивался. Это не удивительно, если учесть, что жили здесь *советские* мусульмане, давно слившиеся с русскими в то, что прежде называлось *новая общность* — *советский народ*. То есть порок бежал героя, так надо бы сказать эпически. Впрочем, дело, скорее, обстояло проще. В глубинной России часто встречаются случаи, когда в одной семье пьющие и не пьющие поколения чередуются. То есть дети, глядя на пьющего отца, на горе матери, испытав на своей шкуре все лишения и ужасы, которые несет алкоголизм главы семейства, с младых ногтей проникаются к водке ненавистью и отвращением. Но и вполне может статься, что просто-напросто организм героя не принимал алкоголя: во всяком случае, по моим данным, будучи уже взрослым и богатым человеком, Равиль никогда не пил ничего крепче шампанского.

Второй важный мотив — мотив неудачливого любовника. Судя по анализируемому нами тексту, Равиль Ибрагимов на этом поприще не был былинным богатырем. Он не был хорош собой, скорее — наоборот, так что все его любовные победы были обеспечены только напором и силой духа. Этому мотиву в цитируемом очерке уделено значительное место. Журналистка отыскала в областном центре и встретила с первой любовью Равиля, Дарьей Сухорук, и остается лишь дога-

дываться, откуда в степном ауле появилась украинская девушка. Наверное, она была из семьи ссыльных, но об этом в очерке ни слова.

Эта самая Дарья Сухорук, судя по всему, была польщена вниманием прессы, но факт связи с Равилем Ибрагимовым начисто отрицала: *у меня с Равилем ничего не было, он только пытался за мной ухаживать, приглашал на танцы, пару раз поцеловал.* К тому же после окончания восьмого класса его избранница уехала из поселка, окончила пищевой техникум и попала в официантки в ресторан центральной областной гостиницы, что было для Первомайского головокружительной карьерой. Впрочем, она отрицала, что именно разница в социальном положении свела к нулю шансы Равиля: *во-первых, я была уже молодой женщиной, а Равиль — просто сопляком, тощим и рыжим, а мне никогда не нравились рыжие, к тому же он был немного помешанный, что ли, но спокойный, задумчивый какой-то, а девчонкам нужны хулиганы.* Но проболталась-таки, что позже, когда ее уже давно не было в поселке, а он бросил школу, ей говорили, что теперь Равиль на танцах *мог взять любую.*

Показания разноречивы. Надо ли понимать дело так, что, будучи отпетым хулиганом, в свои пятнадцать он одновременно *мог взять любую*, хотя годом раньше был смиренным соискателем расположения девушки, четырьмя годами его старше. Причем белокожей блондинки — об этом упоминается в очерке, тогда как сам Равиль был рыжим. Отметим лишь, что свой сексуальный путь Равиль начал с фиаско, хоть поначалу и получал, кажется, кое-какие авансы, но позже наверстал

упущенное с лихвой. И еще одно важно: не блистательная ли карьера не случившейся любовницы послужила позже причиной его интереса к гостиничному бизнесу.

5

Еще один мотив всплывает в связи с любовью его старшего брата Усмана к старшей сестре Дарьи Олесе — национальный. Об этой связи сестры Дарья Сухорук рассказывала куда охотнее, объясняя, что *брат Равиля Усман, мы его называли Худым, безумно любил мою сестру, отчасти поэтому и Равиль пытался за мной ухаживать в подражание старшему брату.* Она рассказала также, какой Усман был внимательный к сестре: дарил тюльпаны и катал верхом на лошади. Процитируем Дарью дословно: «Наш отец был категорически против этой связи, считал, что его русской дочке унижительно связывать свою судьбу с татаринком. Он Олесе по десять раз на день повторял: «Не позорь меня!». То есть, будущий миллиардер Равиль Ибрагимов рано столкнулся со своего рода расовой дискриминацией: русские — в данном случае украинцы — считали ни много, ни мало *позором* породниться с татаринком.

Итак, Равиль Ибрагимов был рыжий, маленький, безотцовщина, из очень бедной, если не сказать нищей, семьи, не без странностей, причем татарин, — отличный набор объективных обстоятельств для того, чтобы раскалить тщеславие юного честолюбца.

Неугомонная журналистка разыскала и Олесю Сухорук. Она пишет: «В чертах женщины до сих пор заметно, что Джульетта Усмана Ибрагимова была краса-

вицей — тоненькой блондинкой с пухлыми губами». Олеся в отличие от младшей сестры была разговорчивее и прямее. Сразу согласилась, что, мол, да, была любовь. «Как мне за него от отца доставалось! Помню, с автобуса на остановку раньше выскакивала, чтобы провожать не увязался. А то отец увидит — беда. Но все равно тайком встречались. Помню, Усмана в армию провожали, я даже сознание потеряла».

Продолжение этого интервью не имеет прямого отношения к герою, но проливает свет на тамошние нравы, на обстановку, в которой рос будущий магнат. Вот кое-что из интервью с Оксаной Сухорук.

«— А Равиль Ибрагимов в армии служил? — спрашивает журналистка.

— Нет, не служил. Точно не служил.

— Почему?

— Откупился.

— Но разве в те времена можно было откупиться?

Шла Афганская война...

— За большие деньги можно.

— А что, у Ибрагимова в восемнадцать-двадцать лет были большие деньги?

— Были».

Показательна история самой Оксаны. Она вышла замуж за человека, которого одобрил отец. Сейчас она вдова: *местные малолетки вымогали денег и полгода назад отрезали мужу голову.*

6

Итак, будучи четырнадцатью с небольшим лет, Равиль бросил школу. То есть, не закончил даже восьмилетку. Еще пару лет, до получения паспорта, Равиль болтался в Первомайском, нигде не работая, и только потом подался в город. Эти два года очень интересовали очеркистку, но она столкнулась с тем, что ни один из тех выживших его сверстников, кого удалось обнаружить, не пожелал рассказать ничего вразумительного. Они только восхищались Равилем, с гордостью рассказывали, что он пообещал бывшим односельчанам разбить на центральной площади сквер и устроить фонтан. И что построил для матери на месте хибары, в которой родился, золотой дворец в виде башни с полумесяцем на шпигеле. И дворец этот издали, из степи, сверкал на солнце как сказочный минарет. Впрочем, мать *просила родной дом не сносить*, но Равиль сказал жестко, что, мол, *нам старья не надо*. Отметим этот мотив безжалостного прощания с прошлым — в отличие от многих людей его жесткого склада, Равиль не был сентиментален. Впрочем, он оставил в целости глинобитный дувал, через который перемахивал в детстве, когда сбегал из дому кататься с мальчишками постарше на *баллоне* в единственном здесь арыке.

Наивная очеркистка умоляла найденных ею с трудом свидетелей юности Равиля рассказать *хоть что-нибудь безобидное*. И один буркнул: *безобидного не было, одно обидное*. Что ж, история с отрезанной головой мужа, которую рассказала Олеся Сухорук, помогает составить объективную картину того, что происходит в

областном центре в наши дни. А как жил поселок Первомайский в годы младости магната Ибрагимова, лет тридцать лет назад? Судя по всему, царившие тогда нравы были еще более жестокими, если это возможно.

Вот как реконструирует журналистка жизнь поселка со слов одной из одноклассниц Ибрагимова Усмана. «Во времена нашей молодости еще хуже было! Убивали в поселке многих. У нас тут стрельбища такие были! Заказные убийства. На мотоцикле едут с обрезом — через забор стреляют. Вот мой друг — Утенок, по молодости встречались, он потом с Аликом Греком работал, — так его и расстреляли. Ибрагима Махмудова тоже убили. В одной компании с Аликом был. У нас на поселке молодежь тогда модная и крутая была. Именно мой возраст. Все были крутые. Те, кто живы остались, сейчас удивляются: как это Равиль смог пробиться и не погиб? Почему у других не получилось? Значит, была рука, которая его тащила. Я вам скажу, даже в горисполкоме у него связи были». Скорее всего, это уже из области мифологии: какая у татарского юноши из нищей семьи могла быть *рука в горисполкоме*. Наверное, ближе к истине предположить, что уже в юности Равиль приглянулся кому-то из местных уголовников постарше: он же был заводилой среди подростковой шпаны, и столь высокоодаренный, подающий большие надежды юноша не мог остаться незамеченным. Собеседница журналистки продолжает: «Это моя компания была, мои друзья. Равиль у нас был самый юный. Его брат Усман привел. С Брагиным работали Утенок, Фарид, еще один, грек, кажется, все трое убиты. Вадим Раббибулин вместе с Равилем боксом занимался — тоже убитый». Нам приго-

дится и эта деталь: маленький и, наверное, не слишком сильный с детства Равиль Ибрагимов не только шился со шпаной, но не пил и занимался боксом. То есть, характер имел твердый и целеустремленный еще в юные годы.

Журналистка задает уже совершенно ненужный вопрос: остался ли кто-нибудь в живых из той, ранней компании, в которой вращался Равиль. «Несколько людей. Ринат-Журавель живой, на поселке живет. Еще я осталась. Я их всех хорошо знала. Алик как-то мне говорит: «Девочка, если ты будешь болтать, сама понимаешь...».

По данным поселкового совета, которые приводит очеркист, в поселке Первомайский мужчин 40—50 лет нет. *Спились, скололись, сели, убиты*, так объясняют эту демографическую особенность местные. «Ищите их на кладбище», — сказал один вполпьяна мужичок едва постарше Ибрагимова.

Но и этой корреспондентке, при всей въедливости, не удалось приподнять завесу над годами жизни Рагиля Ибрагимова от того, как он бросил школу до того, как в областном центре в двадцать с небольшим стал директором крупного кооператива. Она пишет, что *те, кто знал в те годы Ибрагимова, предпочитают держать язык за зубами*. Никто не может вспомнить, к примеру, занимался ли хоть чем-то легальным Равиль в юности. *Работал ли после школы? — Не знаем. — Учился хоть в техникуме? — Вроде да. — В армии был? — Да нет, вроде. — Почему. — Кто его знает...*, на соблюдение закона омерты. Но скорее на страх, если не ужас, который вызывало в его родных местах имя Рагиля Ибраги-

мова. Но ужас восхищенный — так относятся к суровым богам, от которых, впрочем, можно ждать и нежданной милости.

7

Как ни странно, в биографии театроведа Евгения Евгеньевича было нечто, напоминающее жизнеописание магната Равиля Ибрагимова. А именно — частичное нищенское почти сиротство: Равиль не знал своего отца, а Евгений Евгеньевич никогда не видел свою мать, которая скончалась через неделю после тяжелых родов. И со своим отцом познакомился, а позже сблизился, будучи уже складным и высоким, умным юношей. Его воспитывала бабка по материнской линии и тетка, старшая сестра матери, нрава крутого, но благородного. Так как свое *ханское происхождение*, бравшее начало то ли в зыбучих песках Кызыл-Кумов, то ли на просторах Великой степи, Евгений Евгеньевич получил по материнской линии, понятно, что и сестра матери обладала светло-оливкового оттенка кожей и восточным разрезом темных глаз с голыми нижними веками. Она и в пятьдесят была пикантна, но давно утратила к мужчинам какой-либо, кроме близости по духу, интерес, сделалась сурова. Хотя когда-то, возможно, не была синим чулком и, если верить словам ее давней безмужней подруги, в молодости *дрозда давала*. Замужем тетка тоже никогда не была и своих детей не имела.

У нас нет надежных источников, которыми можно бы было воспользоваться, чтобы представить себе детство театроведа. Известно только, что оно было печаль-

но и бедно. Своего деда по матери, инженера-путейца, он тоже никогда не видел: потом выяснилось, того расстреляли еще перед войной. В детстве Женечки деда почти не поминали: только потом ему стало известно, что дед был мало того, что дворянин, но и воевал какое-то время у Колчака, хоть и дезертировал. Женщин, опекавших маленького сироту и существовавших на копейки, — отец в те годы начисто отсутствовал в жизни сына, вращаясь в вихрях кинематографического существования, — хватало лишь на то, чтобы приучить Женечку к чистоте, к книжкам, заставить полюбить театр и развить деликатную природную интеллигентность.

Притом, что Женечка рос у *подола*, в детском его облике — об этом свидетельствуют две фотографии, одна с плюшевым мишкой, прижатым локтем, другая с детской ямочкой на левой щеке, попавшиеся мне на глаза, — не было и тени робкой пугливости. Напротив, его облик поражал общим выражением ясности. Это впечатление оставлял прежде всего не по-детски отчетливый взгляд; не умудренный и тоскливый не по возрасту, как бывает у отягощенных ранним насильственным развитием детей, но спокойный и прямой взгляд мальчика *из хорошей семьи*, как выражались давным-давно, сто лет назад. Красивого мальчика, добавим. Глядя на эти фотографии, никто не подумал бы о бедности, взгляда не перевел бы с этого на редкость миловидного личика на потертую мелкого черного вельвета курточку.

Жили они в двух больших проходных комнатах в небольшой по московским масштабам коммуналке на Садовом кольце, недалеко от Курского вокзала, прямо

над кинотеатром *Встреча*. Потолки в квартире были высокие, коридор просторный. Была огромная прихожая, в которой висел на стене один на всех жильцов черный телефонный аппарат. Соседи были люди странные, но милые. Оперный баритон по фамилии Савойский, списанный в филармонию, по утрам громко фыркал в общей ванной и все время пел *Я тот, которому внимала*, даже в телефонную трубку. А при встрече с Евгением Евгеньевичем в коридоре *Не плачь, дитя*, тоже из *Демона*, хотя Женечка плакал редко и украдкой, баритон этого видеть не мог. Тихая одинокая старуха Лиза Моисеевна, отсидевшая семнадцать лет в лагерях, была по слухам, бывшая красавица и жена какого-то полковника с Лубянки, Женечке хотелось, чтобы разведчика. Веселый холостой священник с русой бородой по смешной фамилии Карасиков под черной рясой — Женечка подглядел не раз — носил синий тренировочный костюм, каких тогда было не достать и в ГУМе. И Евгений Евгеньевич с теткой и бабкой — вот и все население. То есть Женечка на всех в квартире был единственный ребенок, и на баритона — неунывающего ценителя Рубинштейна, и на священника, который был в непонятном для Женечки состоянии *целибата*, как выражалась тетка, и на старуху *из бывших*.

Бедно жили все, но Женечке после одного случая стало казаться, что они — всех беднее. Это невозможно стыдное детское воспоминание, на сторонний взгляд — сущий пустяк, мучило Евгения Евгеньевича всю жизнь. Однажды бабушка достала свою цигейковую шубку — хорошие шубы ушли в Торгсин еще перед войной, — обдав Женечку легким запахом нафталина. Они шли в

Большой на утреннего *Щелкунчика*. Какая рождественская елка стояла на сцене в первом действии, огромная и нарядная. И как гибок был Арлекин. И это волшебное превращение парадного зала в зимний лес. И дворец сластей. И фея Драже. И смешной китайский танец Чая... В гардеробе было много разряженных довольных детей и нарядных взрослых. И вот, когда они добрались-таки до стойки, где пожилые задерганные гардеробщицы суетливо пытались отделаться от публики поскорее и покрикивали *бинокль брали*, Женечка вдруг, ни с того ни с сего, оглянулся на бабушку. И неожиданно ему стало до слез стыдно такого знакомого бабушкиного заплатанного, как у какой-нибудь нищey из Диккенса, шерстяного темно-коричневого платья с пожелтелым от старости кружевным воротником. Именно из Диккенса, что было особенно жалостливо. Было жалко и ее, и самого себя. И стыдно еще и потому, что в этом платье бабушка, единственный человек, которого Женечка любил, показалась ему *слабой и беззащитной*.

Это воспоминание долго жгло и мучило. Так что духовная сторона жизни с детства была повернута к Евгению Евгеньевичу своей уязвимой изнанкой, а о силе духа умных и тонких богатых людей он мог лишь читать у Толстого. Возможно поэтому, много позже, став взрослым, он тихо возненавидел опрятное *почти монашество* и сладострастное самоограничение *порядочных* людей. Этот вечный соблазн русского смирения, страдальчества, кротости, так манивший не только Достоевского, но даже и Тютчева, был не просто неприятен, но казался глупостью. *И отвратительное русское юродство*. По свидетельству сестер Достоевских, одна-

жды они услышали из уст Евгения Евгеньевича — в разговоре, кажется, о *Зияющих высотах* — филиппику об *интеллигентах от пивного ларька и ханыжных опрошценцах*, но это была минута раздражения. Чаше он бывал мягче и с милой улыбкой отклонял приглашения на дачу, когда узнавал, что там нет теплого сортира; и обаятельно, как бы в шутку, прикрывая рот ладонью, язвил в сторону по поводу *интеллигентской дачной самоупоенности жертвенной бедностью*.

Привычка прикрывать рот ладонью, когда смеялся, осталась у Евгения Евгеньевича с юности, поскольку у него с детства были скверные зубы — *искусственник*. Зубы давно были поменяны, но привычка осталась, казалась даже обаятельной, складывалось впечатление, что Евгений Евгеньевич острит именно для вас, доверительно, по секрету, и собеседнику делалось приятно: Евгений Евгеньевич как бы намекал, мол, мы-то с вами умные люди, мол, мы-то понимаем. На самом деле, это у Евгения Евгеньевича получалось произвольно...

Но дело было сделано: сладким ядом театральной поддельной пышности маленький Евгений Евгеньевич был отравлен. Книги, обнаруживая удивительные способности и не менее удивительную память, уже лет в двенадцать научился читать, что называется, *по диагонали*. В Пушкинском застывал перед Тулуз-Лотреком, а в Третьяковке вдруг заплакал, глядя на готовящиеся завянуть, с траурной каймой на лепестках, розы с натюрмортов Куприна. Он был не просто, что называется, *чувствительный мальчик*, но мальчик, обладавший какой-то необыкновенно подвижной и жадной восприимчи-

востью, и, конечно, много развитее и умнее своих сверстников.

До двенадцати лет в школу Женечка почти не ходил — в этом не было никакой надобности. Позже, став взрослым, Евгений Евгеньевич иногда ностальгически вспоминал то уютное наслаждение, которое он получал от самообразования, как от чего-то мягкого, шерстяного, почти плотски теплого, домашнего, как теткин рейтузы зимой. Уже лет в тринадцать он знал так много, что учителя побаивались задавать ему вопросы. На почве его всезнайства иногда случались конфузы: учительница географии, дура и старая дева, однажды на уроке побагровела и побежала чуть не в слезах жаловаться начальству, после того как простодушный мальчик из самых благих побуждений поправил ее в вопросе стока рек Амазонского бассейна. Так что лучше было держать Женечку дома — от греха.

Но между тем бабушка старилась: то по-прежнему баловала, а то вдруг будто не узнавала внука. Тетка работала на двух работах, дома бывала только вечерами и по выходным. Бабушка отрешилась, и Женечка лишился ее нежности. Она днями читала Тютчева в кресле в уголке дальней комнаты и вдруг вскликивала неожиданно сильно, не старчески, как записной декламатор далеко выкидывая руку:

*Ночной порой в пустыне городской
Есть час один, проникнутый тоской, —*

и тетка с тревогой смотрела на Женечку — заметил ли. Он замечал, пугался, бабушку жалел.

К тетке часто, едва ли ни каждую субботу, приходили гости. Иногда к ним присоединялись и гости священника Карасикова: в его шестиметровой комнате, бывшей кладовке, была только тумбочка рядом с узким и длинным топчаном, сколоченным им собственноручно — кровать туда не пролезала. Гости подолгу сидели в их большой комнате за круглым столом под мохнатым рыжим абажуром. Пили кагор с чаем, реже водку. Выкуривали за вечер очень много папирос — по преимуществу *Беломор*, но иногда и *Казбек*. Женщины и пили, и курили на равных с мужчинами, причем курили едва ли не больше. Женечка из угла, сидя на стульчике у своего подвесного секретера с открытой крышкой, замечал: среди них бывали и красивые. Но держали себя так, будто красивыми быть не хотели, говорили с хрипотцой, громко, рубили воздух руками. Мужчины все были в свитерах и в ковбойках, в мятых штанах, в стоптанных башмаках, но обаятельные, перекрикивали друг друга, спорили, но никогда не ссорились. Один, худенький, в очках, приходил с гитарой, пел смешные песни собственного сочинения, про кита, что ли, ему хлопали. Другого, самого молодого, все называли Тоша, хотя он имел полное имя Анатолий Яковлевич. По образованию он был учителем истории, но в школе не работал, подрабатывал грузчиком в Южном порту, большой, но подвижный, с яркими темными умными глазами, пил больше всех, иногда громко читал стихи, *свежие, я только вчера от Него*. И Женечке нравилось такое:

*День наполнялся дивной синевой,
Как ведра из глубокого колодца,
А голос был высок, вот-вот сорвется,
И Пушкин думал: Анна, Боже мой.*

Часто говорили о *могиле Пастернака*. Женечке на память шла *аскольдова могила*, он представлял себе высокий курган в степи, подсмотренный, видно, на картине Верещагина, не знал тогда, что это — не могила даже, а место убиения легендарного князя, чуть не в центре Киева, в городском парке. Вокруг этой самой пастернаковой могилы, судя по всему, творились безобразия, присутствующих возмущало, что в день десятилетия смерти *топтуны провожали от станции*.

Подвыпив, визитеры иногда матерились. Тогда тетка скашивала на Женечку глаза, тот опускал взгляд долу, что-то рисовал, делал вид, что не слушает разговоры взрослых. На самом деле слушал, конечно, и слушал внимательно. Подчас эти сборища производили на Женечку тяжелое впечатление, на память приходила отчего-то мрачная картина *Арест пропагандиста*, которую он знал по репродукции и которой боялся. Это тем более удивительно, что тайный смысл бесед за теткинским столом Женечка не всегда понимал, лишь обращал внимание, что, когда один говорил особенно жарко, всегда находился другой, махавший на него рукой и выразительно тыкавший пальцем в потолок. На потолке ничего особенного видно не было, лампа с абажуром, по углам — лепнина. Говорили о *крымских татарах*, которых *они* должны вернуть. Откуда и куда этих самых крымских, как вина в Елисеевском, татар должны были

вернуть, Женечка не знал. Часто упоминались две дамы, *Галина Борисовна* и *Софья Власьевна*, но сами они никогда не приходили. На столе иногда появлялся блокнот с отрывными страничками, и то один, то другой что-то в нем записывали, передавали другим, те многозначительно кивали. Потом этот листок сжигали в пепельнице, горелая бумага воняла, тетка вскакивала, отворяла форточку. Один веселый священник Карасиков бодрился, *пусть слушают*, говорил он, посмеиваясь и почесывая бороду. *Ой, чур тебя, не накликай, расстрига*, говорили ему.

Но бывали и веселые дни. Тон задавал пьющий учитель. Как-то он рассказал анекдот про говорящего попугая, который ругался матом и на время, пока у хозяев были гости, его прятали в холодильник. Однажды пьяный гость пошел на кухню — искать выпивку, открыл холодильник и оторопел: ты кто такой? *Пингвин, еб твою мать*, отвечал попугай. Все хохотали. *Ну, Тоша, я же просила*, воскликнула тетка, улыбаясь, этого она, по видимому, выделяла.

В другой раз Тоша пришел один, хоть и выпивший, но грустный. Он принес толстый том из вышедший тогда Всемирной библиотеки со старорусской литературой, открыл, стал читать вслух с выражением. Дойдя до места, где протопопица спрашивает мужа *доколе терпеть эту муку* и тот отвечает *до самой смерти, матушка*, Тоша вдруг заплакал, и Женечке стало не по себе, стыдно, жалко, неприятно, он пугался, когда взрослые при нем плакали.

Когда гости расходились, тетка мыла посуду на кухне, заставляла Женечку помогать, будто он был де-

вочка, вытирать блюдца полотенцем — *приучала к труду*. И вот, перемывая чашки, тетка убежденно говорила про недавних гостей, какие это честные, добрые, бесстрашные люди. *Соль земли*, повторяла она помногу раз, и Женечка уже знал, откуда это выражение и кому принадлежит. Однажды в комнате бабушки за томом *Цветов Зла* в переводе Эллиса книгоиздательства *Заратустра* с двумя предисловиями, Теофиля Готье и Валерия Брюсова, Женечка нашел спрятанную книгу в темной обложке с едва заметной, стершейся в углублениях вдавленного креста, позолотой. Бабка увидела Библию уже раскрытой на коленях внука, отбирать не стала, только обронила *почитаешь и поставь на место*.

9

Женечка ждал субботы каждую неделю, потому что ему очень нравилась эта самая *соль земли*, а бесконечные разговоры гостей сливались для него в музыку, иногда грустную, иногда возбуждающую, и хотелось самому взростеть и самому говорить, говорить. Подчас он рассуждал сам с собой, как бы возражая кому-то. Чаще всего, таким образом он говорил с Тошей, который и ему, как и тетке, нравился больше других.

Жизнь эта пресеклась с арестом священника Карасикова. В квартиру пришли трое, один стоял в коридоре, двое других вывели священника из комнаты, стали обыскивать его чулан. Женечку тотчас спрятали к бабке, потому что тетку позвали быть на обыске *понятой*. Скорее всего, обыскивавшие ничего интересного для себя

не нашли, *очень огорчились*, говорила потом тетка с издевкой. И священник исчез из квартиры, а на его запертой комнате появилась какая-то висюлька из сугруча на тоненькой волосяной веревочке.

В первое же после ареста воскресенье Женечка с теткой поехали на Тишинский рынок — покупать священнику Карасикову валенки. *Лагерь-то ему не дадут, не звери же*, вслух размышляла тетка, *а в ссылке как без валенок*. Они нашли хорошие, крепко подшитые, большие. Через полгода наступили дни судебных слушаний. Заседания длились чуть не неделю, и всякий день тетка брала на службе отгулы, чтобы быть у здания суда. Несмотря на то, что внутрь суда никого не пускали, процесс был закрытым, по радио *Свобода* сквозь завывания глушилок по вечерам слушали отчеты о ходе дела, и выходило, что священник Карасиков раскаялся, просил не применять к нему строгих кар, поскольку он заблуждался. *Вот видишь, Ася, я говорила, он слабый*, качала головой бабушка. На этой почве у них с теткой чуть не каждое утро бывали споры. *Не ходи*, просила бабушка, *готовая заплакать, я старая, он все равно сломался, ты о мальчике подумай*.

— Как ты не понимаешь, мама, я должна, должна. Что ж, спрятаться, это уж совсем не порядочно. Да и не по-божески.,— жестко резала тетка. — Батюшка сам выбрал свою Голгофу, это правда, но разве мы не были рядом с ним. А слабый, что ж, люди слабы. И кто знает, как я бы себя повела на его месте.

— Не говори так, Бога ради, не говори. Я понимаю, я все понимаю, — и глаза бабушки действительно ув-

лажнялись, — у этого Карасикова никого нет. Целибат, видишь ли... Вот только Женечку жалко...

— Только слез не хватает, мама. А мальчик уж не маленький...

— Да как же, Ася, ему двенадцать лет...

Женечка с ужасом понимал: речь у взрослых идет о том, что с теткой могут сделать то же, что и с бедным Карасиковым. И тогда, понимал он, они с бабушкой *не выживут*. То есть умрут. Но умирать он совсем не хотел. И еще он понимал, что *не по-божески* в устах тетки значит — не по-христиански. И он представлял священника Карасикова, который в синем тренировочном костюме несет свой крест, два крепко сбитых тяжелых бревна, ковыляя под гул насмешек толпы.

Пока шло следствие, тетка раз в неделю *собирала передачу* для священника, там была дефицитная жесткая колбаса, которая изредка появлялась в Елисейском и которую так любил сосать Женечка — любил за дивный копченый вкус дыма. Но доставалась она ему лишь по праздникам, чаще они позволить себе такую роскошь не могли. И еще какие-то вкусные вещи любовно укладывала тетка в небольшой фанерный ящик, банки со сгущенным кофе с молоком, из которого, если сварить прямо в банке, получалось дивное лакомство, ванильные сухари попеременно с теплыми носками, приговаривая *все равно жандармы все свалят в кучу, хорошо, если пропустят*. И уезжала в *Лефортово*. К слову, кое-что действительно не пропускали, и тогда эти вкусные вещи возвращались и попадали к ним на стол. Не пропустили и валенки.

Тетка оказалась хорошим пророком: Карасикову дали лишь *по рогам*, как выразался Тоша. И отправили в ссылку в Красноярский край, и вслед за ним отправилась посылка с этими самыми валенками. Опечатанной комнатой Карасикова никто не интересовался. И соседи на свой страх и риск сорвали пломбу и стали использовать каморку по настоящему ее назначению, как кладовку, принялись хранить там всякий хлам.

Так закончилось детство Евгения Евгеньевича. И он, как будто почувствовав это, неожиданно попросился в школу. Чуть подумав, тетка на удивление легко согласилась, пробормотав *что ж, тебе предстоит жить здесь, так что привыкай*. И сказано это было таким тоном, что сделалось ясно: *жить* здесь не сулит ничего хорошего.

10

Проследить этапы становления Ибрагимова—миллионера можно отчасти по небольшой книжечке-автобиографии, которую за него написал один не слишком удачливый литератор. Из крупных бизнесменов отнюдь не один Ибрагимов тщеславно заказывал собственное жизнеописание, теперь этим никого не удивишь. Все такие книжки будто соревнуются в безвкусице, вот и это была размахисто названа *Миллионер из степи*, на обложке крупно портрет Рагиля на фоне каких-то безлистных саксаулов, которые, к слову, в степи не растут. Не говоря уж о том, что к тому времени, судя по всему, Ибрагимов приближался к своему миллиарду.

Вдалеке за плечом героя виднелся и треугольной формы холм, курган, наверное, *солнцем опаленный*.

Я пролистал эту книжечку и тут же понял, что в тексте зияют очевидные лакуны. С настоящим автором этого в высшей степени бездарного сочинения я легко познакомился, придя в Центральный Дом литераторов и застав его вполпьяна в *нижнем буфете*. Когда его собутыльники покидали заведение, где стал мигать свет, а буфетчица наотрез отказалась *налить по последней*, я окликнул его и предложил перекочевать в ночной бар неподалеку, здесь же, на Большой Никитской. Он согласился, и мы провели вместе часа два. Поначалу он утверждал, что Ибрагимов *безбашенное животное* и ничего не понимает в литературе: *жмот, не заплатил, как уговаривались*. Здесь писатель икнул. *И знаете что еще — он пиво пьет подогретым*. Но после трехсот коньяка я добился от него более или менее внятного изложения недостающих в его тексте, прошедшем самую строгую цензуру самого героя, событий. Бегло перескажу то, что узнал из книжки с пьяными добавлениями автора, хоть все это довольно банально и всем известно — довольно типичная для нынешней стадии нашего капитализма история восхождения со дна.

Будучи лет шестнадцати Равиль уже пропадал в городе, там у него завелись хорошие дела. Он подрядился к одному остепенившемуся вору: доставал в областном универмаге по блату белые майки с короткими рукавчиками. Нанятый художник-оформитель наносил на майки методом шелкографии черно-белые портреты Биттлз, Пугачевой и Жванецкого, все были похожи на жителей востока. Но не только их: когда кончалась чер-

ная краска, шли зеленые русалки с голыми грудями и имитация воровской татуировки синего цвета — с инкрустированной белым ручкой, что таило намек на слоновую кость, кинжал, на котором, обвившись вокруг лезвия, замерла лупоглазая змея. С партией таких маек Равиля отправляли на толкучий рынок, и майки с нанесенным на них вдохновенным мастером рисунками шли втрое дороже номинала. Это было первой стадией операции. На второй к пацану, который только что приобрел майку с Пугачевой, запечатанную в прозрачный целлофан, на выходе с рынка подходил парень постарше, свирепо вопил *дай поносить* и, угрожая ножом, майку отбирал. Почти все без звука отдавали, и майки поступали в повторную продажу.

Но вскоре спрос на рынке иссяк, так, одну две майки за день покупали какие-нибудь лохи из деревни, местные уж знали, что к чему. Бизнес пришлось перенести на другую площадку, а именно — в областной аэропорт, в зал ожидания. Расчет был на то, что отлетающие пассажиры, находясь в расслабленности от предвкушения воздушного путешествия, будут рады приобрести подарок своим родным и близким. И здесь бригада впервые столкнулась нос к носу с милицией, причем не городской, где работали одни знакомые, а с представителями специального подразделения — транспортного. Эти оказались неподкупны, и вскоре бизнес пришлось свернуть.

С одним мужиком по фамилии Сергеев, бывшим комсомольским активистом, а потом — сотрудником прокуратуры, они наладили дело по торговле березовыми вениками у единственной в городе бани с парным

отделением. Мужик до этого сопровождал партии курток из Пакистана, но погорел на таможне и залез в долги. Веники выручили его. Из центральной России конечно, не возили, Сибирь была ближе. Поставили одну бабу, которая до того продавала чебуреки перед Домом быта и культуры, торговать перед баннным входом. Была еще у Равиля идея открыть пару платных туалетов, но у них в городе это дело не пошло: население продолжало справлять нужду, где придется, и платить за это местному народу казалось не просто излишеством, но форменной дикостью.

Одно было плохо — Сергеев пил. Причем чем больше они на вениках зарабатывали, тем больше пил Сергеев. Спьяну он сошелся с этой торговкой, и они вдвоем стали воровать деньги у подельника: баба попросту утаивала часть выручки. Равиль обнаружил это довольно быстро, но не стал устраивать разборок, а наблюдал молча, выжидая. И когда они возвращались из Сибири с очередной партией товара, Равиль столкнул подвыпившего Сергеева с вагонной площадки в степи под Оренбургом. Это было не первое в его жизни убийство, еще в ранней юности он на спор со старшими парнями ударил по голове обрезком трубы одного таксиста с иногородними номерами. Таксист упал лицом на руль, в кармане у него не было и десяти рублей. Впрочем, возможно, таксист выжил — труба не была тяжелой.

Бабе Сергеева Равиль рассказал, что тот спьяну, возвращаясь из вагона-ресторана, *выпал за борт*, так он выразился. И поинтересовался, где она держат кубышку с украденным. Испуганная баба все поняла и от-

дала Равилю немалую сумму, которую Равиль сунул в карман, не считая. И цыкнул *сгинь*. С тех в городе ее никто никогда не видел.

11

Равиль вывел из этой истории два урока: дело должен возглавлять один человек, а именно — он сам. И надо более тщательно подходить к подбору персонала. Многие искали у него партнерства. Скажем, один бывший учитель словесности предлагал стать соучредителем бизнеса по печатанью классиков русской литературы. Свое издательство он предполагал назвать *Раскольников*, но Равиль рассмеялся ему в лицо. Сам он Достоевского не читал, но видел скучный — даром что детектив, как гласила афиша — фильм в кинотеатре, прикидывая, как бы приспособить фойе под торговый зал, и предсказал, что это дело развалится из-за отсутствия прибыли — в первые же полгода. И он оказался прав.

От идеи захватить кинотеатр он отказался. Много прибыльнее показалось предложение перепродавать алтайский мед: при себестоимости четыре рубля можно было сдавать его в потребкооперацию по одиннадцать рублей с полтинником, *с прицепом*, что называется. Дело обещало быть очень хорошим, но оказалось невозможно найти сборщиков, которым можно было бы доверять. Предложение упасть в долю для покупки свечного заводика при православной церкви он тоже отклонил: попы были жадными и явственно вороватыми. Ос-

тавалось одно — заняться малопочтенным делом по пошиву носильных вещей.

В *общаке* у воров Равиль взял кредит, причем на вполне божеских условиях. Он долго не мог решиться на это, потому что знал: задержи он выплаты хоть на день, его *поставят на счетчик*. А через месяц выловят из реки с ножом в спине. Но решился и открыл подпольный цех по пошиву детского и постельного белья, семейных трусов в горошек и цветок — эти товары в городскую торговую сеть давным-давно не поступали. Открыл так: двое братков заглянули в одно ателье, поговорили с директором, и тот на следующий день уволился. Директором стал Равиль. Первым делом он уволил половину работниц и старого закройщика, оставив только еврейку-бухгалтера и троих матерей-одиночек. Никаких костюмов и брюк, понятно, здесь больше не шили. Но много заработать на этом деле было нельзя: очень дорого оказалось качественное сырье, чтоб не разъезжалось после первой же стирки. Так что, скажем, комплекты постельного белья почти ничего не приносили. Магазины его товар не брали, опасаясь проверок. Брали комиссионки, но по смехотворным ценам — даже с кое-как нашитыми фирменными этикетками. Приходилось посылать собственных работниц на рынок... Аккуратно расплатившись с долгами, Равиль продал свое ателье, причем тому же самому директору через его же бывшую бухгалтершу.

К хорошим деньгам привыкают быстро. И Равиль привык. Но не прогуливал их, был, как известно, не пьющий, а доступными девками не интересовался. Деньги откладывал, потому что нужно было приобрести машину и жениться. В свою очередь для того, чтобы жениться, нужно было обзавестись собственным жильем. А поскольку все это в его жизни было впервые, даже мотоцикла никогда не было, жены — тем более, как никогда не было и *своего угла*, он подходил к делу осторожно и с расчетом. Он давно не жил в гостинице, а нанимал комнату с верандой в пригороде у одной очень жадной старухи, в его отсутствии шарившей в его вещах. Она перестала так поступать, когда Равиль вполне убедительно пообещал ей *отрезать уши*.

Настоящие деньги, однако, пришли позже. Подошла кооперативная эпоха, и Равиль открыл свой первый легальный цех — по пошиву женских дубленок, которые проще было бы назвать приталенными овчинными полушубками. Он назвал свое детище *Время года*, ему казалось — красиво, звучно, *по делу*. В степи у казахов можно было купить сырья сколько душе угодно, и по бросовым ценам. Главной в кооперативе была *социальная направленность* — Равиль принимал на работу женщин, освободившихся из колоний. На территории недавно брошенного полком мотопехоты монастыря он отремонтировал для них общежитие, которое представляло собой две комнаты с нарами, очень похожие на камеры в пересыльной тюрьме. Бабы эти находились в трудном положении, многие со справками вместо

паспортов. Паспорта он им выправил через знакомую *ментуру*, но на руки не дал, запер в сейфе. Деньги выдавал лишь на текущие расходы, остальное держал на именных депозитах. Если какая-нибудь из работниц беременела, ее тут же увольняли, но расплачивались честно. Равиль быстро обрел необходимые навыки работы, дело поставил на широкую ногу. Через год у него работали до сотни работников, а поскольку он наладил бесперебойный сбыт товара в средней России, то один вложенный рубль стал приносить до тысячи рублей прибыли. И Равиль стал действительно богатым человеком.

Деньгами он распоряжался умело. Купил сразу две квартиры на одной площадке кооперативного дома, и объединил их. Невеста у него на примете была: русская по имени Надежда, дочка главного инженера цементного завода, из старообрядцев, образованная, закончила библиотечное отделение местного института культуры, работала в районной библиотеке. Конечно, выросла она не в отцовском скиту, но в строгости, мать, которая вела домашнее хозяйство, глаз с нее не спускала, на все лето они уезжали к деду с бабкой на Алтай. Все было договорено с инженером, но свадьбу пришлось отложить: на Равиля впервые было совершено покушение.

Его ударили по голове и пырнули ножом в живот в его собственном подъезде, но денег не взяли, оставили даже золотые часы. В больнице его откачали. Он выжил и стал прикидывать, кому он мог перейти дорогу. Все сходилось к тому, что его *заказали* конкуренты-армяне. Потому что, несмотря на то, что армянский цех был далеко, в Краснодаре, их интересы все же пересеклись в

восточной Украине, в Днепропетровске. Впрочем, они, *забив стрелку* в ресторане на острове на Днестре, вроде бы договорились, и Равиль обещал Ашоту снизить объем поставок. Скорее всего, тот ему не поверил, в чем был, конечно же, прав... Выйдя из больницы, Равиль заплатил немалые деньги *пацанам*, и краснодарский армянский цех сгорел. Вместе со складом. Можно было жениться.

13

Школы Женечка, Впрочем, достигал не часто. Иногда присутствовал на первых двух-трех уроках, но потом все равно сбегал. Нет, ему там не было одиноко, кое-какие приятели у него завелись, но их привлекали в основном уроки физкультуры, точнее — одна из одноклассниц на этих уроках. Звали ее Танечка Шагина. Для прыжков и бега она переодевалась в очень короткие облипавшие ее попку трусики и в легкую майку, из которой торчали созревшие к ее четырнадцати годам груди. Судя по всему, ей нравилось, когда одноклассники мяли и щупали ее в раздевалке. Заставши однажды такую сцену, Женечка побледнел, выскочил в коридор, его чуть не стошнило.

Он бесцельно шатался по городу, бездумно петлял, достигая блаженной пустоты и отрешенности. Дышал сладким паром мокрых осенних листьев, которые дворники-татары не успевали убирать с тротуаров и мостовых: осень стояла пышная, теплая, яркая. Но однажды Женечка откопал в бабушкиной, точнее — дедовой, библиотеке *Путеводитель по Москвѣ* тысяча де-

вятьсот девятого года. Одна дарственная надпись чего стоила *Глубокоуважаемому постоянному и неутомимому руководителю Графу Юлию Павловичу от искренне преданного ему*, и — подпись неразборчива. Под надписью пометка *1913 г. 19ое*. Почерк ровный, с росчерками, как бы с намеком на каллиграфию, так учили писать пером в классических гимназиях, смысл подхалимский. Бабушка, усмехнувшись, сказала, что в двадцать третьем, что ли, году дедушка выменял этот том на рынке на целую селедку, полученную им в пайке Наркомата путей сообщения. *Помню, я, молодая жена, очень плакала, потому что мы ведь голодали...*

В конце путеводителя шел перечень семнадцати московских музеев и десятка картинных галерей. А также восхитительные *объявленія*, от них шел запах другой страны, той, из которой его, Женечку, так безжалостно исторгли: *придворные поставщики Е. Л. и Ф. Вишневские. Москва. Нѣмецкій рынокъ. Фабрика художественныхъ изделий*. И подросток решил, что, останься он там, где по его глубинному ощущению, и должен был бы быть, он купил бы у семейки Вишневских настольную лампу на витой бронзовой ноге и с зеленым колпаком и вступил бы в партию кадетов. *И П. Хлебников, придворный поставщик, иконостасы, царскія врата, хоругви, главы, раки, паникадила, престолы, кресты, решетки, гробницы*. Или: *братья Аксерио, производство искусственного мрамора*. А вот еще: *Мюръ и Мерилизъ предлагают установить водопровод и канализацию*. И чем эти самые мирные Мюръ с Мерилизом помешали безжалостным большевикам, которые заменили их Торговый дом на ЦУМ, где

хоть что-то стоящее можно лишь *достать из-под прилавка*. Четырнадцать лет в своей записной книжке Женечка записывал, что *эксперимент советской власти провалился, что видно на каждом шагу*. Замечу, это записывалось советским школьником из интеллигентной семьи за несколько лет до появления в свет *ГУЛАГа*. Впору было разрыдаться: где И. П. Хлебников, где братья Азорио, где Мюр и Мерелиз, хорошо, если успели смотаться в Париж да хоть в Константинополь или вовремя умереть, не дотянув до Соловков.

Вооружившись бесценным путеводителем, Женечка тщательно утвердил ежедневный маршрут. Теперь от их дома его дорога вела до Лермонтовской. Там он переходил Садовое к метро, поворачивал налево, до Кировской. Поболтавшись здесь, отправлялся на бульвар, шел до Покровских ворот, и по Покровке возвращался на Садовое. И, как всегда прилежно, занялся самообразованием, изучая родной город, от которого осталось на удивление немало.

У метро *Красные ворота* на Земляном валу действительно должны бы быть Красные ворота, но их не было. Женечка не знал, что тридцать с лишним лет назад их снес Лазарь Каганович вместе с церковью Трех Святителей, расширив тем самым Садовое кольцо — при Мюре и Мерелизе про Кагановича еще было не слышать. Кировская осталась, но должна бы называться Мясницкой. Конструктивистского дома *на ногах* работы Корбюзье во времена путеводителя тоже, конечно, еще не было, зато на Кировской справа сохранился магазин, в который по воскресениям тетка с детских его лет водила Женечку, как в музей. Пока тетке мололи кофе

Арабика, другого она не пила, пока она покупала для бабушки на вес особый, *красный*, китайский чай, Женечка лицезрел драконов и змей, вившихся вокруг золотых колонн, восточные фонарики и на красном фоне бесконечный охровый орнамент, за которым не уследить глазу. Кофе пахлопряно и дразняще, к этому запаху примешивался горький шоколад и корица: так, наверное, было здесь и в добольшеvistские времена, и на грязную советскую улицу не хотелось выходить. Понятно, отчего напротив, на месте Почтамта, жил некогда светлейший князь Меншиков, хоть ни чая ни кофе тогда здесь еще не давали.

Меншиковский дворец разрушили, конечно, но не сразу, зато по другую сторону будущей Кировской площади построили доходный дом Страхового общества *Россия* с часами на башне. Свернув на бульвар по выжившему имени Чистопрудный, Женечка, если верить путеводителю, оказывался как бы в Европе, но сколь не оглядывайся нынче — нет Европы, одна *Советская энциклопедия*. На пруду плавали утки, и Женечка не могла знать, что скоро прочтет книжку *Над пропастью во ржи*, а еще через тридцать лет, как и неврастеник Холден, которому было столько, сколько Женечке сейчас, будет кормить уток на пруду Центрального парка. *Европа* кончалась Покровскими воротами, так этот перекресток по-прежнему назывался в память о некогда стоявших здесь на пути к Кремлю воротам. На Покровке, тоже сохранившей своей имя в отличие от ее продолжения Маросейки, стояли, как и при придворном поставщике Хлебникове, дворянские особняки, отведенные под ЖЭКи, СУ и другие, даже более благородные, конторы,

в которых, впрочем, вряд ли заседали потомки бывших владельцев... И хоть Женечка шел неторопливо, время бежало еще медленнее, и до желанного уже водворения домой было очень как далеко. Тогда Женечка покупал билет в кинотеатр *Встреча* на последние деньги, сэкономленные от школьного завтрака, и выпить лимонада в буфете в ожидании сеанса оказывалось не на что.

14

Можно прикинуть, что именно мог смотреть Женечка в рядовом московском кинотеатре того времени. Меню было небогато. В тот год на экраны попала вполне идиотская лента *Семь невест ефрейтора Збруева*, авторы рекомендовали фильм комедией, однако этот самый ефрейтор казался грустным и туповатым евнухом, было не смешно, напротив — ефрейтора было жаль, по цензурным соображениям он никак своими невестами воспользоваться не мог. Шел также фильм *Начало*. В этой картине фокус был в том, что одну очень некрасивую, похожую на поломойку в их школе, девушку, работницу мебельной, что ли, фабрики, утвердили в кино на роль героини из самой толщи французского народа Жанны д`Арк, что, вообще говоря, было мифом — Жанна была благородного происхождения. Непросто было проникнуть в замысел авторов. Он заключался, возможно, в том, что в нашей прекрасной стране некрасивых девушек не бывает, потому что внешняя неказистость искупается в них богатством душевным, кто бы сомневался. А может быть в ином, в том, что подлин-

ные таланты у нас водятся и в рабочих общежитиях, и на стройках комсомола. *Белорусский вокзал* тоже оставял впечатление тоскливое, какой-то жалостливой убогости коммунальной, провинциальной советской жизни, в которой всё в прошлом: и молодость, и подвиги, и слава... Но вот за долгое ерзанье в неудобном кресле Женечка однажды был все-таки вознагражден — вполне случайно он посмотрел подряд две серии *Короля Лира*.

Дома он тут же перечитал трагедию, а назавтра побежал пересматривать фильм. Оказалось, когда он читал Шекспира лет в двенадцать, от него многое ускользнуло, а сейчас — сейчас он гораздо больше понял. Странно, но ему показалось, что *Король Лир* — больше для чтения, упоительного чтения, чем для драматической сцены, всегда пошловатой. Уж если и ставить эту трагедию, то в опере, настолько в ней все обобщенно. Скажем, одной краской намечены Гонерилья и Регана, обе тупые и злобные волчицы, ну, как Женечкина учительница географии: в кино актрисы, играя ноздрями, изображали звериные наклонности своих героинь. А правдолюбивая ангелоподобная Корделия, которая говорит сама про себя

А что Корделии сказать? Ни слова.

Любить безгласно, — она что, дурочка из переулочка? Нет, скорее лишь мечта, фантом в угасающем уме сумасшедшего Лира. Собственно, Лир не сходит с ума от вероломства и алчности окружающей его родни, он с первых слов на сцене безумен, но как роскошно безумен:

Мы разделили край наш на три части.

*Ярмо забот мы с наших дряхлых плеч
Хотим переложить на молодые
И доплестись до гроба налегке.*

Или вот еще, сколько в безумце поэтической ярости, соревнующейся с яростью бури:

*Лей, дождь, как из ведра и затопи
Верхушки флюгеров и колоколен.....
...Ты, гром,
В лепешку сплюсни выпуклость вселенной
И в прах развей прообразы вещей
И семена людей неблагодарных...*

Много позже Женечка увидел, что Лозинский пригладил грубость воплей Лира, и в переводе Михаила Кузмина они звучат более дико:

*Валящий гром,
Брюхатый сплюснуть шар земной, разбить,
Природы форму, семя разбросать,
Плодящее неблагодарных!*

На экране все это звучало очень убедительно. Теснота сцены была раздвинута, тяжкие стены замка чернели на черни неба; балтийское море кипело, дождь лил и стегал, гром ярился, безумный Лир с то развевающимися, то повисающими мокрыми патлами седыми волосами вопил, шут вился. На повторном сеансе Женечка расплакался, не отрывая глаз от экрана, а потом, когда все принялись умирать, разрыдался, не та-

ясь. Он плакал не столько над судьбами персонажей, но — от сладкой зависти к создателям, от томительного восторга перед недостижимой красотой. И еще, конечно, от юношеской *tristesse*, непрременной возрастной грусти, а также от печали, которую вселяли в него виды оккупированного обворованного родного города. И тогда сзади, из темноты раздался мягкий теплый голос:

— Вы плачете, мой мальчик?

15

Его звали Вацлав Ибрагимбекович, бакинец, поляк по матери, то ли художник, то ли режиссер, тот ли все вместе. Он жил на Тверском бульваре, в переулке, в подвале с низкими потолками, затянутыми павлопосадскими платками, шитыми золотой канителью, в трех очень больших комнатах с задрапированными китайским шелком с драконами и глазастыми веерами осыпающимися стенами. В этом помещении, именовавшемся *мастерская*, как в *Волшебной лавке* таилось скопление загадок и чудес. Много позже, когда при Евгении Евгеньевиче упоминали о Вацлаве, он говорил небрежно *да-да, я знаю его*, скрывая волнение, и ронял, что его мастерская была обставлена *с варварскими претензиями и хамской роскошью*, как бы запоздало мстя за прошлую свою очарованность. Потому что в свои четырнадцать, после их бедной коммуналки, Женечка был ослеплен богатством этого подвального мира, будто попал во дворец подземного короля: шкафы карельской березы с коронами наверху, красного дерева с бронзой креслами и топчанами с небрежно

накинутыми на них афганскими коврами, гнутых форм лежанками-рекамье, обтянутыми полосатым шелком, английским резным буфетом, показавшимся Женечке огромным, люстрой из ананасов и граций, а также каменным изваянием ундины, о котором хозяин вскользь сказал *это оникс*. И уж вовсе невообразим был серебряный кот в натуральную величину. А если приплюсовать сюда огромную туалетную комнату в стиле тысячи и одной ночи с невиданным тогда в советской стране биде, с круглой ванной и с копией *Поцелуя* Родена, придвинутой в самый угол, то, понятное дело, легко можно было ослепнуть.

В тот первый день знакомства, когда хозяин как бы между прочим пригласил Женечку в гости, напоил ароматным английским чаем из *Березки* за одноногим столиком, убранном ручной вязки болгарской красно-белой салфеткой, угостил рассыпчатым печеньем с тмином, изящно и вежливо улыбаясь, расспросил о том о сем, но сам всех своих тайн конечно же не открыл.

Они стали встречаться, сначала время от времени, потом все чаще. Вацлав весь был прелесть: и пестрый шелковый шарф, замотанный на шее в какую-то замысловатую петлю, и светло песочного цвета мягкая шляпа, Женечка потом узнал — *борсалино*, и длинное коричневое пальто из кашемира; и ступал он осторожно и вкрадчиво, и жест имел мягкий и гибкий, и голову держал чуть на отлете и вбок. Скоро Женечке захотелось много-много новому знакомцу рассказать, что было не удивительно: он ведь ни с кем не разговаривал давным-давно, с тех пор, как бабушка перестала слушать других, говорила только сама, а тетке было некогда.

Одноклассники, обуянные ранним гоном, были не в счет. А Вацлав умел вызвать на откровенность. Женечка стал болтать, не в силах остановиться, ощущая какое-то упоение. И уж даже плохо понимал, куда его несет. Он много говорил о бабушке, Вацлав кивал *понимаю*, и Женечка был благодарен. В рассказах о тетке всплыл и священник Карасиков, и Вацлав обронил *наслышан*. Когда Женечка дошел до Тоши, о котором говорил в тоне возвышенном, Вацлав вдруг сказал:

— Заботиться у нас о правах человека, все равно, что, сидя в болоте, обсуждать законы воздухоплавания.

И Женечка вдруг споткнулся, ожегся, задумался. И потом решил: а ведь верно, верно. И Тоша со своими слезами над судьбой протопопицы показался чуть глуповатым.

Однажды Вацлав торжественно объявил, что приглашает Женечку *на закрытый просмотр* в Дом кино. Женечка по молодости не знал тогда — юность наша провинция, — сколь щедро и баснословно это приглашение. И лишь попав в этот мир блестящих и шуршащих шелком, пахнувших *Шанелью номер пять* — этому Вацлав Женечку уж научил — людей, фланировавших по фойе и приглушенно гудящих, но время от времени вдруг взрывающихся и с воплями бросающихся друг с другом лобызаться, Женечка понял, что вот и он, когда повзрослеет, будет так жить. И шелковый галстук. И раки с пивом в нижнем буфете. Ясно, отчего здесь проводится *закрытый просмотр*, эти блестящие люди открытых *Невест ефрейтора Збруева* смотреть не станут. Да и о фильме, который будут демонстрировать, Вацлав говорил с несвойственным ему волнением: он и сам,

кажется, ждал чего-то необыкновенного. И с придыханием произнес *Смерть в Венеции*. И с удивлением, не скрыв легкого раздражения, обнаружил, что Томаса Манна Женечка уже читал. *Но вы, Женечка, не могли понять, это о чуме запретного вожделения...* Посмотрев фильм, Женечка понял. И стал иначе смотреть на Вацлава. И цепко ухватил его под руку, когда они вышли на улицу, пошли по бульвару. *Вас хватаются*, сказал Вацлав. *Я позвоню*, сказал Женечка, которому больше всего сейчас хотелось на Лидо.

Что-то торжественное появилось в Вацлаве. Он предложил Женечке рюмку рижского бальзама, хотя прежде никогда не угощал Женечку алкоголем. Да и сам не пил.

— А помните ли вы историю со щитом крестьянина, май бой?

— Нет, — отвечал Женечка.

— Со щитом из фигового дерева? Неужели не помните. Так слушайте же.

Вацлав открыл какой-то фолиант — древний, померещилось Женечке — и стал читать, чуть растягивая слова. Женечка внимал, едва вникая, так сладок был голос декламатора. — Однажды сер Пьетро из Винчи находился в своем поместье, как один из его крестьян, собственными руками вырезавший круглый щит из фигового дерева, запросто попросил его о том, чтобы этот щит расписали для него во Флоренции. На что тот весьма охотно согласился, так как этот крестьянин был очень опытным птицеловом и отлично знал места, где ловится рыба... И вот, переправив щит во Флоренцию, но так и не сообщив Леонардо, откуда он взялся, сер

Пьетро попросил его что-нибудь на нем написать. — Женечка, которому уже давно не читали вслух, живо представил себе и щит, и самого Леонардо, автопортрет которого так часто был у него перед глазами. — Леонардо же,— продолжал Вацлав свою сладкую сказку, — когда в один прекрасный день щит попал в его руки и увидев, что щит кривой, плохо обработан и неказист, выпрямил его на огне и, отдав его токарю, из покоробленного и неказистого сделал его гладким и ровным, а затем, пролепкасив и по-своему его обработав, стал раздумывать, что бы на нем написать, что должно было бы напугать каждого, кто не него натолкнется, производя то же впечатление, какое некогда производила голова Медузы.

Голос чтеца понизился до мягкого рычания. — И вот для этой цели Леонардо напустил в одну из комнат, в которую никто, кроме него, не входил, разных ящериц, бабочек, кузнечиков, нетопырей и другие странные виды подобных же тварей, из множества каковых, сочетая их по-разному, он создал чудовище весьма отвратительное и страшное, которое отравляло своим дыханием и воспламеняло воздух. Он изобразил его выползающим из темной расселины скалы и испускающим яд из разверзнутой пасти, пламя из глаз и дым из ноздрей. — Тут Вацлав довольно правдоподобно изобразил эти страсти. — Причем настолько необычно, что оно и само казалось чем-то чудовищным и устрашающим. И трудился он над ним так долго, что в комнате от дохлых зверей стоял жестокий и невыносимый смрад, которого однако Леонардо не замечал из-за великой любви,— поднятый к убранному платками потолку палец, — ...из-

за великой любви, питаемой им к искусству. Закончив это произведение, о котором ни крестьянин, ни отец уже больше не спрашивали, Леонардо сказал последнему, что тот может, когда захочет, прислать за щитом, так как он со своей стороны свое дело сделал. И вот когда, однажды утром, сер Пьетро вошел к нему в комнату за щитом и постучался в дверь, Леонардо ее отворил, но попросил обождать и, вернувшись в комнату, поставил щит на аналой и на свету, но приспособил окно так, чтобы оно давало приглушенное освещение. Сер Пьетро, который об этом и не думал, при первом взгляде от неожиданности содрогнулся, не веря, что это тот самый щит, и тем более что увиденное им изображение — живопись, и когда он попятился, Леонардо, поддержав его, сказал: «Это произведение служит тому, ради чего оно сделано. Так возьмите же и отдайте его, ибо таково действие, которое ожидается от произведений искусства». Вещь это показалась серу Пьетро более чем чудесной, а смелые слова Леонардо он удостоил величайшей похвалы. А затем, потихоньку купив у лавочника другой щит, на котором было написано сердце, пронзенное стрелой, — Вацлав показал на свое сердце и даже изобразил рукой в воздухе полет стрелы, — он отдал его крестьянину, который остался ему за это благодарным на всю жизнь. Позднее же сер Пьетро во Флоренции тайком продал щит, расписанный Леонардо, каким-то купцам за сто дукатов, и вскоре щит этот попал в руки миланскому герцогу, которому те же купцы перепродали его за триста дукатов». — Вацлав помолчал. И закончил: — Такая вот притча на тему *искусство принадлежит народу*.

Женечка смотрел на него. До сих пор он полагал, что добрые и умные люди должны быть непременно бедными. Оказывается, это не всегда так. И сам потянулся к сказочнику за поцелуем.

16

Замечаете, выходит нечто вроде сравнительного жизнеописания. Конечно, Евгений Евгеньевич бывал горюлив, но все-таки никак не Демосфен. А Равиль не был великим полководцем, хотя и мог бы, наверное, поднять в атаку полк, но все-таки не Сципион Африканский. Однако сама навязчивая параллельность их судеб склоняет к мысли, что если Равиль, несомненно, римлянин, то Евгений Евгеньевич, конечно же, чистой воды эллин периода упадка. С некоторыми натяжками продлим эту параллель.

Скажем, бабушка Евгения Евгеньевича, перенесла тяжелый инсульт, левая рука отнялась, но она все порывалась мыть посуду, *что б не сидеть на шее*, и была, казалось, готова покинуть этот мир, повторяла, страшное для Женечки *я скоро умру*, но первой внезапно умерла тетка. Правда, бабушка пережила ее ненадолго, и Женечка, когда б не появившийся вдруг отец, остался бы круглым сиротой и один одинешенек. А в округе родного поселка Равиля Первомайский вспыхнула холера, и три его сестры одна за другой умерли, и за ними старший брат Усман, имевший привычку запивать водку, зачерпнув воды из арыка. И осталась бы у Равиля из родных одна мать, когда б и у него, как у Евгения Евгеньевича, нежданно-негаданно не объявился отец, не-

мощный, иссохший, полинялый, с бесцветной кожей и остатками седых волос. Он уж не имел сил читать Коран, только постанывал, мать же помочь ему не могла, была неграмотна и читать не умела. И уже через неделю после своего появления он тоже умер на руках старой жены. Она пробормотала нечто вроде *явился и удалился*, так можно было бы перевести. Как раз тогда Равиль решил жениться, но, как мы знаем, покушение отдалило свадьбу на неопределенный срок, потому что будущий тесть-инженер очень бурно прореагировал на это событие, говоря, что в их старообрядческом роду *никогда разбойников не было*. И Равиль впервые в жизни почувствовал себя одиноким: он все-таки всегда имел за спиной какой-никакой, но клан.

И у Женечки близкого человека не было. Потому что его друг Вацлав сделался надменен и груб: не открывал дверь, не подходил к телефону, а если и подходил, завел манеру неожиданно бросать трубку. А когда впускал все-таки Женечку к себе в сказочный подвал, мог улечься на оттоманку и потребовать читать ему вслух, пока он вздремнет. Потом стал требовать подавать себе одеваться, и однажды, когда Женечка достал что-то не то, ударил его грязными носками по щеке. Это было последней каплей...

Но и этих параллелей и сближений мало: приблизительно в то время, как Равиль обзавелся собственной квартирой, свое жилье появилось и у Женечки. Его отец проявил доселе Женечке неведомую в нем сметку и способность к комбинациям, нашел какого-то богатея, который решил расселить Женечкину коммуналку, чтобы целиком ее захватить, и довольно быстро сделал

это. Благо священник Карасиков из своей ссылки больше не показывался, а Елизавета Моисеевна умерла. Баритон Савойский и Женечка получили по отдельной квартире. Баритон собрался первым, спел Женечке на прощанье *Я тот, которому внимала*, потрепал по щеке, как некогда, но теперь это Женечку возмутило, ему почудился намек. И съехал. Женечка бродил по родному гнезду, подбирая вещи, оброненные Савойским, и плакал у себя в комнате, уткнувшись в старую нафталиновую шубку бабушки. Ему казалось, что это не его юность, быть может, и не Бог вещь какая счастливая, но нежная, закончилась и иссякла, — нет, мир внезапно обрушился и пал, и Женечкина жизнь оборвалась навсегда.

Впрочем, переезд несколько взбодрил его. Да и отец, видя горе мальчика, старался не оставлять его одного. Женечка получил квартиру *за выездом* с двумя проходными комнатами и большой светлой кухней в обшарпанной бетонной восьмизэтажной *башне* у черта на рогах, от метро *Текстильщики* двадцать минут на автобусе, в хулиганском опасном бывшем рабочем пригороде Москвы. И в новой квартире стало еще виднее, какой бедной и утлой была их жизнь с бабушкой и теткой: в новой квартире даже старые, уютные некогда их вещи глядели сиротливо, жались по стенам, не находили себе места. Круглый стол отправился на кухню, там же был прилажен и абажур, и кухня с ее газовым камельком стала единственно теплым и жилым местом в доме. Потому что проходная комната оказалась совсем пустой и холодной, старый буфет да теткина кушетка, а спальню себе Женечка устроил в дальней, ма-

ленькой и душной комнатенке, где одиноко встал его топчан, на котором он теперь мог поместиться, лишь поджав ноги. Детский свой секретер с исцарапанной, закапанной чернилами столешницей Женечка бросил. Как и совершенно распавшийся диван бабушки. И из книг взял только несколько, остальные снес букинисту: он и впредь не обзаводился библиотекой, при его памяти хранить книги было ни к чему. Да и всегда ему казалась эта черта интеллигентского быта, эта манера неременного приобретения собраний сочинений и выставления их напоказ, смешной пародией на ушедший быт усадебный, бессильной ностальгией по утерянному навсегда. К тому же манерой растиражированной и соответственно вовсе удешевленной в быту уже мещанском, неременной деталью псевдокультурного нищенского достатка, интерьера советского стиля с румынскими *стенками* и невнятными сервантами. И когда он слышал словосочетание *подписное издание*, Евгения Евгеньевича передергивало от отвращения. Впрочем, последние тома собраний он любил пролистывать — из-за ссылок, сносок и комментариев. А также ценил воспоминания старинной подробности: *Своеручные записки княгини Долгорукой*, или воспоминания графа Сологуба. Или мемуары недруга Пушкина Фаддея Булгарина, у которого можно прочесть прелестные причитания типа *в Выжигине меня за сотую долю того, что я видел, совершенно заклевали; если бы я рассказал все, что знаю, пришлось бы улечься в могиле или скрыться в лесу...* Хорошо: скрыться в лесу или улечься в могиле.

От одиночества Женечка уверовал в Христа: Христос ведь утешает отчаявшихся и отогревает озябших. Библию, как мы помним, он уже знал подробно, из Ветхого Завета — и Пятикнижье, и кровавые Книги Царств, любил Иисуса Навина и почти всех из двенадцати малых пророков, особенно Иезекииля и Иону. Поучительной представлялась и история братьев Иакова и Исава, поросшего красной шерстью и уступившего право первородства за чечевичную похлебку, за *красную еду*. Короче, Женечка был готов к единобожию, — Вацлав-то был, конечно, язычник.

Теперь Женечка днями читал Евангелия, особенно четвертое, где *вначале было Слово*, и *Апокалипсис* Иоанна заучил чуть не наизусть. Но не чувствовал в себе веры глубокой, хоть и жаждал ее, и молился иногда под одеялом, одними губами, чтобы послана ему была вера. В церковь Женечка не ходил, говорил себе, что *это ничего*, важно само *предание*, повторял вслед за Толстым, из разговора с Крамским, состоявшимся якобы во время сеанса, когда тот писал сразу два портрета графа, большой и маленький. Художник спросил свою натуру о вере, дескать, вы ведь верующий, Лев Николаевич? И Толстой якобы ответил: *делаю всю мимику верующего и слова говорю, которые выучил, покоряюсь преданию...*

Однажды ему попалась перепечатанная на машинке — надо же какое было прилежание у тогдашних неофитов — *Лествица возводящая на небо*, сочинение Иоанна, *игумена синайской горы*, так значилось на ти-

тульной странице. Некогда несчастный Карасиков дал эту машинопись тетке для ознакомления, так она и оставалась лежать, и Женечка наткнулся на нее лишь при переезде. Теперь эта бледная, едва читаемая копия совершенно заорожила его, и он почувствовал себя именно что иноком, ведущим жизнь отшельническую.

Поначалу особенно понравились ему примеры подвижничества и блаженного послушания, когда *будучи одеты в железную броню кротости и терпения, отражают ею всякое оскорбление и уязвление*. Эту фразу он мысленно зачитывал неверному Вацлаву и чувствовал себя приподнявшимся над всеми обидами, что он претерпел в злополучном подвале. Подвале, который Евгений Евгеньевич уж никогда не забудет хотя бы потому, что там потерял невинность. Самого же Вацлава Женечка теперь почитал как бы умершим, ушедшим в то царство теней, в котором обитали и бабушка, и тетка. Ведь что такое полный и окончательный разрыв, как не похороны бывшего друга. Ведь он теперь жив только в памяти, точно как покойник. И вспоминать его надо добром, и молиться за него. Иногда Женечка бормотал для себя на память из Кафависа:

*Часть комнаты, в которой он лежал,
была видна оттуда, из прихожей,
где я стоял: богатые ковры
и утварь — золотая и серебряная.
Я плакал — плакал и не прятал слез.
Я понимал, что сборища, гулянья
лишатся смысла после смерти друга.
Я понимал, что больше он не будет
счастливыми беспутными ночами*

*смеяться рядом и читать стихи...
Я понимал, кого и что я потерял —
навечно, безвозвратно потерял, —
ах, сколько нежности вмещало сердце!*

Конечно, бывали и другие минуты. Тогда Женечка мысленно упрекал Вацлава за то, что тот свой ум и свой дар использовал не по назначению, лишь для соблазнения — так стало казаться Женечке. И что он жаден и груб в постели. Но потом спохватывался, одергивал себя, понимая, и это в нем говорит просто-напросто разочарование, в какое всегда рядится горькая обида. И он это разочарование в бывшем друге лелеет и даже растравляет. И тогда он со смехом вспоминал просто-душную пропаганду Вацлава: еще до падения Женечки тот уверял, что у женщин отвратительно пахнут ноги. Особенно у девушек...

Однако вскоре он пресытился горько-сладким, не без оттенка мазохизма, воздержанием. Разбуженная молодая плоть требовала своего. За этот одинокий год у него было два или три, как считать, грязных уличных приключения, и еще один мясник Вася, из магазина на Пятницкой, по педрильскому имени Василиса. Мясник напевал из Гелены Великановой *И вообще ты живешь в другом городе, и другая тебя любит женщина* и заразил Женечку какой-то инфекцией, пришлось глотать таблетки.

На *плешку* Женечка не ходил, там попадались совершенно несносные типы, своего рода Че Гевары педовок, Мартины Лютеры педрил, приставучие, навязчивые, прожженные и циничные. *Томас Манн, Генрих*

Манн, а сам рукой ко мне в карман. Вкус и воспитание не позволяли Женечке с такими знаться. Как никогда не заходил он и в общественные мужские уборные, где вовсю занимались анонимным сексом. Нет, Женечка уповал на какую-то нечаянную и несказанную Встречу, которая преобразит жизнь. Как бы встречу с самим собой. Попросту говоря, он ждал любви.

18

Он познакомился с Павлом именно что случайно, на Ленинградском вокзале, где встречал отца, который должен был возвращаться с Ленфильма, но не возвращался. И ровно на его месте в спальном вагоне вместо папаши Женечка обнаружил Павла, который рассказал, что купил билет с рук на Московском вокзале. И что отец велел кланяться и извиниться: его задержали дела. Ну, нашел, наверное, очередную бабу, какую-нибудь костюмершу на студии. Или парикмахершу.

Павел сразу сказал, что родных в Москве у него нет, но он хочет быть театральным художником, мама актриса, поэтому часто приезжает на московские премьеры. *А ночует?* Как получится...

Наутро нежный и трогательный в постели ночной Павел обернулся и вовсе необыкновенным мальчиком, смешливым, легким, фантазером. Рассказывал, как на Пицунде его похитили грузины, джигиты какого-то князя, и он несколько месяцев провел в горах в каменной башне, как царица Тамара. Женечка потешался: а Демон, Демон-то являлся? *Боже, конечно, совсем врубелевский, в одних штанах и восточных остроносых зо-*

лотых тапочках, с обнаженным торсом, крылья волосатые.

С появлением в его жизни нового друга, Женечка стал постепенно охладевать к вере — Павел был совершенно не религиозен, хоть и богобоязнен. То есть не был верующим, но был суеверен. Казалось бы, в юности все было решено, без веры никак нельзя, заключен был собственный завет, и он, как думалось, вот-вот и уверует горячо-горячо. Но незаметно, исподволь вера Женечки стала убывать, и поучения Лествичника показались старомодными, навязчивыми, едва ли не нелепыми.

Первое время между ними считалось, что новый нежный друг Женечки с длинными волнистыми, мягкими и нежными, каштановыми волосами похож на Иоанна Крестителя из Лувра кисти Леонардо. У Паоло, — под этим именем знали Павла в питерских артистических кругах, точнее — в забегаловке *Сайгон* на углу Невского и Владимирского, близ дворца Белосельских — Белозерских, и в популярном скверике на углу Стремянной и Дмитровского переулков, — было такое же, как у Иоанна, удлинненное красивое лицо, таящее неведомое печальное знание. Необыкновенно хороши были и его огромные синие глаза, в моменты страсти делавшиеся бездонно голубыми, а в печали — темно-васильковыми.

Поначалу Паоло показывал норов, подчас капризничал, тогда Женечка цитировал ему *вы не свои, вы куплены дорогой ценой*, но Паоло не подозревал, что некогда в земле обетованной жил его тезка, чудом прозревший на пути в Дамаск. И еще: у Павла была неснос-

ная тяга к людям в форме, солдатам, морякам, даже к охранникам и швейцарам. Скорее всего, это было подсознательное преклонение перед людьми власти, замешанное на страхе. Женечка же напротив всегда бежал власти, ибо любые контакты с нею — не для человека стиля и вкуса. Впрочем, позже в этом вопросе он дал себе, как мы знаем, послабления, но все-таки, когда его прочили в главные редакторы одного театрального издания — самым решительным образом отказался.

В силу естественного стремления времени довольно скоро, через пару лет оседлой жизни на Женечкиных хлебах, из облика Паоло стали постепенно уходить яркость и краски, замутнились и померкли глаза, потом он и вовсе обрюзг и поблек, но Женечка этого не замечал: Павел вошел в его жизнь и стал не любовником уже, но другом, младшим братом, домашним rat, существом, о котором надо заботиться, тем мальчиком — сыном гостиничной хозяйки в Люцерне, — которого молодой Толстой брал на прогулки в горы именно с этой целью — чувствовать за кого-то ответственность. Для Женечки это оказалось идеальным способом повзрослеть.

19

Равиль Филиппович Ибрагимов, однажды ожегшись на своих подельниках, принял решение, как мы знаем, отныне все делать самостоятельно. И, занявшись масштабным бизнесом, понял, что для независимого ведения дел ему необходимо создать свой собственный банк. Нет, он не был мегаломаном, но — человеком дерзким, способным глядеть далеко, поднявшись высо-

ко над привычным обывательским горизонтом. Это был первый частный банк в тех краях: сначала полу подпольный, потом официально зарегистрированный. Именно банк и принес Равилю полную удачу: в этом деле он, человек без образования, освоивший, правда, еще в своем ателье, а потом в своем цехе азы бухгалтерского дела, оказался своего рода вундеркиндом. Нужно было только понять, что деньги — тот же товар, покупай подешевле, продавай подороже. И давать кредиты нужно тем, кто способен оборачиваться быстрее, чем конкуренты. А среди частных лиц иметь в клиентах лишь избранных — с нищим в массе своей населением пусть работают сберкассы.

Денег стало много. Потом очень много. Квартира и офис в Москве, связи за границей, доступ на закрытые форумы и совещания в очень узком кругу. Его главной победой в том период стал перенос в столицу головного банка. И частичный переезд в Москву, потому что оказалось очень не легко нащупать в столице бывшей империи все подводные камни и течения, занимаясь таким жестким бизнесом. К тому же, скрывая отвращение и презрение к *элите*, как она сама себя называла, публике лощеной, но в большинстве ленивой, жадной и трусоватой, пришлось-таки обучаться навыкам и правилам небожительства.

При этом свою *малую родину* Равиль, конечно, не забывал — как никак первый банк он открыл в родном областном центре. Впрочем, времени на этот, ставший дочерним, бизнес у него не оставалось. Он назначил управляющим *человечка*, которого порекомендовали верные люди, и отписал тому немалые полномочия, но

отчеты читал невнимательно, сбрасывал заместителю. Именно эта небрежность, столь несвойственная Равилю, позже дорого обойдется ему. Возможно, Равиль полагал, что с той стороны ему не может ничего грозить: где-где, а за спиной, в родных местах он слыл героем и хозяином, и там у него — самый прочный тыл. Если я прав и не ошибаюсь в своих предположениях, то следует заключить: Равиля, человека осторожного и трезвого, в этом случае подвело самомнение и даже в известной доле наивность. Так самые коварные, самые острожные люди подчас ошибаются в самых близких...

Но это позже. Сейчас он шел вверх. Для себя залог успеха он определил кратко: везение и осторожность, осторожность и везение. Чтобы везло, нужно было чувствовать момент, то есть обладать острым нюхом; осторожность же сводилась к тому, что никогда нельзя жадничать и никогда не доверять фарту, не обеспеченному и не подготовленному собственными усилиями. Если бы Равиль играл в покер, то стал бы, наверное, хорошим игроком, но — в азартные игры он не играл, даже в рулетку, так, в очко по маленькой в семейном кругу, эта привычка осталась с юности. Отметим, что когда Равиль окончательно встал на ноги, ему было едва тридцать. И параллельно с тем, как поднимался к заоблачным высотам Равиль, у Женечки тоже занималась дивная карьера: ну, для его круга, конечно.

Он легко поступил в театральный институт безо всякой посторонней поддержки, не имея ни связей, ни блата; впрочем, отец все-таки замолвил словечко кому надо, так, для очистки совести, но без отлично сданных экзаменов это не помогло бы. Поступал Женечка по де-

партаменту критики. И сразу же попал — потом выяснилось, сыграло свою роль его вступительное сочинение — в семинар профессора истории западного театра по фамилии, как ни странно, Люмьер. К знаменитым братьям он, по всей видимости, отношения не имел, был русским французом, предки которого осели в России не только задолго до *Прибытия поезда*, но еще в до-наполеоновские времена, о которых сказано *дней Александровых прекрасное начало*. Кажется, произошло это не по обычной линии гувернерства у русских недорослей, но по линии Соединенных, что ли, Друзей. Да, как-то Люмьер во время занятий, ушедши вдруг от основной темы, помянул три буквы S — Soleil, Science, Sagesse — на таинственном треугольнике на Восточной стороне ложи злато-розового креста. Впрочем, тут же и прервал себя, *простите, я, кажется, отвлекся*, и продолжал о Расине.

Это был совершенно лысый смуглый господин, одевавшийся по тем временам вольно, в свободные куртки кабинетного типа, никаких галстуков, и носивший только английские ботинки. Профессор обладал каким-то обостренно умным, выразительной лепки лицом, с брыльями и глазами стареющего бассета. Имя Люмьера было окружено легендами, жизнь окутана тайной. На факультете шептались, что некогда он сидел в лагере: нет, не по масонской линии, конечно, но за связь с юным студентом. Однако подтвердить этого никто не мог. Может быть, что-то такое было, причем в этих самых стенах, но так давно, что будто и не было. Во всяком случае, сейчас он благополучно профессорствовал, обеспеченно жил один в небольшой квартире на

Кутузовском, и его выпускали за границу. Попастъ в его семинар считалось в институте большой удачей.

И ранней осенью, и весной Люмьер занимался со своими студентами в институтском скверике, причем в хорошую погоду, перед весенней сессией, располагались прямо на траве. Преподаватель марксизма — так случилось во втором семестре, что его пара была следующей — на просьбу студентов и марксизмом заниматься в сквере, возопил: *какой на хрен сад, развели тут сорбонны*. Именно так, во множественном числе. Когда это передали Люмьеру, тот лишь пожал плечами, обронил, что, мол, все логично, *театр родился на свежем воздухе, а марксизм...* Тут он сделал осторожную паузу и закончил *а марксизм в публичной библиотеке*.

Когда Люмьер читал по-французски *Стулья*, то выбирал одного из слушателей — так поступают многие актеры, играя на сцене как бы на какого-то одного зрителя. Однажды на таком семинаре его взгляд остановился на Женечке, тот покраснел. Разумеется, ни Женечка, ни другие студенты французского не знали, но слушали, затаив дыхание. Профессор читал кусками, потом пересказывал по-русски, снабжая комментариями. Вообще, театр абсурда, начиная с *Короля Убю* и кончая *Служанками*, был его магистральной темой. Однажды он благосклонно выслушал замечание Женечки, что наши обэреуты в некотором смысле предвосхитили Ионеско, и заметил только: *положим, Альфред Жарри их все-таки опередил; вот если бы вы вспомнили Блонды, то ваше замечание касательно русского приоритета можно было бы принять*.

Жан Жене его привлекал особенно, он пересказывал слушателям и воровскую истово романтическую *Богоматерь в цветах*, и уже откровенно гомофильский *Керель*, — обо всем этом в те годы было негде ни узнать, ни прочитать, не говоря уж о том, что и оригиналы были недоступны, а переведены двумя десятками лет позже.

Довольно быстро Женечка убедился, что его нынешний профессор интеллектуальнее и глубже Вацлава. В какой-то связи Женечка как-то упомянул чуму из *Смерти в Венеции*, и Люмьер тут же его поправил: *там речь о холере*. И добавил, что, мол, если Женечка имеет в виду не первоисточник Манна, а фильм Висконти, то ему можно посоветовать посмотреть и *Людвига*. В другой раз речь зашла о Прусте — в связи с балетом Бежара, кажется. И Люмьер упомянул *страсть Марсея к Альбертине из Под сенью девушек в цвету, которая была, конечно же, Альбертом*. В начале нашего века, пояснил профессор удивленным слушателям, Франция была такой же ханжой, как Америка на рубеже шестидесятых. И как Россия сегодня. Это было в те годы весьма рискованное замечание. И Женечка подумал: *нет, мальчик все-таки был*.

20

Женечка обожал своего профессора, и тот тоже стал его выделять. И с конца первого курса восемнадцатилетний Евгений Евгеньевич стал печататься в специальных журналах. Люмьер вдохновлял его и почти незаметно, как бы исподволь, продвигал, и Женечка

стал считать его своим Учителем, своим настоящим гуру и водителем. Толчком послужила курсовая Женечки о манифесте Бретона, которая после небольших переделок ушла в *Иностранную литературу* с рекомендацией Люмьера. То есть, как и Равиль Ибрагимов, Евгений Евгеньевич в самом нежном возрасте тоже зарекомендовал себя вундеркиндом.

И вот в начале третьего курса случилось то, о чем и мечтать было нельзя: профессор пригласил Женечку к себе в гости. Люмьер тогда, в начале дивного московского солнечного сентября, вернулся с юга Франции, загорелый, помолодевший, непривычно оживленный. И обрадовался Женечке, быть может, не многим меньше, чем ему самому обрадовался ученик. И попросил остаться после занятий.

— У вас есть что-нибудь новенькое? — спросил Учитель.

И Женечка признался, что все лето занимался французским, и смог достать через знакомых томик де Сада. И кое-что по этому поводу набросал. *Ах, милый, все одно к одному, загляните-ка ко мне, когда выдастся свободный вечерок, у меня теперь есть видео-проигрыватель и картина Пазолини как раз по вашему маркизу.* И Женечка не выдержал, выпалил как школьник, мол, я и сегодня свободен. И покраснел от собственной неловкой нетерпеливости. Люмьер улыбнулся: *ну, тогда завтра.* И назвал Женечке свой адрес, назначил время.

Женечка явился загодя, шатался по Кутузовскому и по набережной, дважды посетил магазин *Вологодское масло*, что был на первом этаже Люмьеровского дома,

наконец, зашел в подъезд, преодолел вялое сопротивление консьержки, которая смотрела на него подозрительно, поднялся на лифте с зеркалом и, не дыша, позвонил в дверь — минута в минуту.

Он собирался к профессору, как на свидание, обернул шею шелковым шарфом, подаренным некогда Вацлавом и научившим складывать шарф пополам, и оба конца продевать в образовавшуюся петлю, и даже подушился. Он долго сомневался, поднести ли Люмьеру цветы, и решился все-таки, на последние деньги купил скромных бледно-розовых гвоздик. И когда хозяин отомкнул дверь и пропустил гостя в освещенную только светом из комнаты прихожую, то оглядел своего ученика, и даже в полусвете Женечка заметил на губах профессора некоторое ироническое выражение.

— Входите, входите, — сказал Люмьер и провел Женечку в гостиную.

Но не сразу предложил сесть. Еще раз оглядел его и произнес фразу, которую Женечка, а потом Евгений Евгеньевич, усвоил на всю жизнь, как *Отче наш*. Он сказал:

— Следует чураться любых внешних знаков своей принадлежности, мы не должны ощущать себя отдельным народом. К тому же, непозволительно и безвкусно превращать частное дело в общее дело.

Тут Женечка, не ожидавший такой выволочки, покраснел как гвоздика и завял. *Ну-ну, будет вам, а за цветы спасибо, я люблю цветы...*

Хозяин оставил его одного, и Женечка взялся озираться. В шведском шкафу до потолка мерцали за стеклом корешки книг, все французские, отдельно стояли

томики поэзии. Люсьен незаметно вошел, поставил что-то на стол, сказал полушутя *Толстой у меня в спальне, а Пушкин в голове*, и опять удалился. Женечка продолжал осваиваться. Нигде не было ни одной, что называется, *вещички*. Обок шкафа стоял ломберный столик с наборной столешницей, но это не походило на экспонат выставки антиквариата, самая обиходная привычная вещь. У стены напротив стояло бюро красного дерева с круглой крышкой, кажется, бидермайер. Назвать это мелкобуржуазной обстановкой было никак нельзя, но и интеллигентского, как бы намеренно *артистического*, неряшливого на самом деле, беспорядка и духа не было: ни одной как бы небрежно забытой вещи, все строго, аккуратно, опрятно. И не было ничего, что сразу говорило бы о хозяйском характере, мол, вот таков я, и таковы мои вкусы: интерьер был закрыт для поспешных оценок. На той же стене, у которой стояло бюро, над топчаном ассиметрично висели три гравюры, в строгих рамках и под стеклом. Одна — старый офорт с перспективой Невского проспекта конца восемнадцатого века, с водой и кораблями, с французскими и русскими надписями, вещь букинистическая и редкая. Вторая была несомненный Калло, и сердце гостя прыгнуло от радости, будто гравюру эту ему подарили, *неужели подлинник*; третью было плохо видно, стекло отсвечивало, это был офорт то ли с Фрагонара, то ли с Буше. Какой контраст с незабываемым подвалом: какая манерность там, какая здесь благородная строгость. Женечка оглянулся, увидел на круглом столе вазочку с печеньем. Пригляделся — песочное, с тмином, вот, одно только печенье, больше ничего общего...

Этот вечер отпечатался в памяти Евгений Евгеньевича до мелочей. До *120 дней Содома* дело как-то не дошло, Женечка лишь повертел в руках коробочку с кассетой, *потом посмотрите*, сказал Люмьер, *я предоставляю вам такую возможность, но поверьте на слово — это не шедевр.*

— Я пригласил вас, чтобы обсудить вашу будущность, — сказал Люмьер, усадив Женечку за стол, покрытый простой, без рисунка, синей скатертью. Женечкины гвоздики в железном восточном кувшине синей и желтой глазурью по бокам стояли между ними, и кроме гвоздик и вазочки с печеньем на столе не было ничего.

Люмьер кутался в толстую домашнюю вязаную кофту, и было впечатление, что его знобит, как всякого человека, только что вернувшегося с юга на наш вредный север.

— Я вижу, — сказал он, чуть покашливая, — вам скучно.

— Нет, что вы, — поспешил Женечка.

— Скучно в нашем заведении, вы ушли уже далеко вперед. Что я могу вам предложить: вам необходимо окончить ваш третий курс и потом сдать специальность вперед. Я согласовал с деканатом, что, начиная со второго семестра третьего курса, вы будете иногда подменять меня и вести мой семинар. Ну, а там мы поговорим и об аспирантуре...

Женечка никогда не был тщеславен, а свое интеллектуальное первенство перед другими просто-напросто воспринимал как данность. Но сейчас он не

смог сдержать радости. Впрочем, нечаянная мысль, как сегодня же вечером он похвастается Паоло, и как огорошен будет отец, вспыхнув, тут же погасла. Комкая в потных руках шелковый шарф, который он украдкой сдернул с шеи, заикаясь, Женечка произнес:

— Вы думаете, я справлюсь?

Глупость, конечно, но что еще можно было бы сказать на Женечкином месте.

Люмьер внимательно и чуть насмешливо смотрел на него: *да вы и сами в этом уверены*. И Женечка не нашелся, что возразить. На том аудиенция и была закончена, даже до чая не дошло: к чему тогда было печенье. И Женечка, выйдя из квартиры Люмера, остался в полном недоумении: что означало это странное приглашение. И зачем был нужен этот его мимолетный визит. Люмьер все то же самое мог сказать Женечке и на кафедре, в своем кабинете. Впрочем, скорее всего профессор избегал в институте оставаться с молодыми студентами наедине.

Так решил Женечка, но очень скоро стало понятно, что дело было не в этом. Уж во всяком случае, не только в этом. А в том, что Люмьер торопился сделать все, как надо и не откладывая. Эта предусмотрительность оправдалась: уже следующей весной из Франции пришла весть, что профессор скончался в своем номере отеля в Авиньоне. Причем оказалось, что он загодя устроил так, чтобы его похоронили в Ницце, на кладбище тамошнего православного храма. И в этом виделось точность и возвышенность высокого духа старого профессора: он разделил себя посмертно между своей исторической и своей настоящей родиной.

Естественно, проститься с Учителем Женечка не смог. Лишь много позже, чрез двадцать без малого лет, оказавшись в Ницце, он нашел русский православный собор, построенный одним из Великих князей, нашел и могилу, положил на плиту букетик розовых гвоздик, *как тогда*.

Внешне Женечка никак не выдавал своего горя: дома за него плакал Паоло. Но без Люмьера безутешному Женечке сразу опостылел и институт, и кафедра, хоть в течение нескольких месяцев он вел-таки семинар своего учителя — в память о нем, хоть и не подумал сдать экзамены за четвертый и пятый курс. То есть он являлся преподавателем, не удосужившись получить диплом об окончании института, случай неслыханный. Впрочем, дальнейшая карьера Евгения Евгеньевича показала, что в своем небрежении условностями он был прав: никому никогда никакого диплома спросить с него не приходило в голову. А если уж приходилось заполнять в анкетах графу *специальность*, Евгений Евгеньевич с чистой совестью писал *театральный критик*, и этого всегда оказывалось довольно.

22

До встречи Равиля Ибрагимова и Евгения Евгеньевича, встречи, оказавшейся роковой для обоих, оставалось почти двадцать лет. И, наблюдая со стороны, можно было бы счесть, что Евгений Евгеньевич проживает эти годы довольно безмятежно. И даже не без приятности.

Давно прошли времена, когда Женечка и Паоло существовали впроголодь, одевались во что попало, но не без вызова: отец подкидывал денюжат вразброс, мало и нерегулярно, а мать Павлуши совала сыну в карман сущие копейки со своих актерских заработков, когда тот залетал в родное ленинградское гнездо. Но, тем не менее, жизнь вели богемную, вольную, у них любили бывать, несмотря на отдаленность. Принимали умных *интересных* гостей и того, и иного пола. И на дешевое алжирское красное вино всегда хватало. *Кавалеров*, впрочем, Женечка Павлу запретил приглашать, *ничего делать из квартиры гейский притон*.

Ложились под утро, вставали к четырем дня, но Женечка, уже уйдя из института, умудрялся поспевать сочинять свои статейки. И его гонораров хватало и на билеты до Питера, как упорно называла этот город советская интеллигенция. И до Феодосии, коли приходила охота сорваться в Коктебель. И даже на немудрящий антиквариат, который в тогдашнем Ленинграде был дешев. Вскоре Женечка заработал и на новые металло-керамические зубы, но по-прежнему, смеясь, все так же по привычке прикрывал ладонью новый белозубый рот.

Теперь, поменяв две квартиры, Евгений Евгеньевич, прихватив, разумеется, Паоло, водворился в четырехкомнатные хоромы, так плотно заставленные *диванчиками энд буфетиками*, что все равно было тесновато, *палаты* называл эту квартиру Паоло. И развесил по стенам старинные портреты из комиссионки, когда гости спрашивали — семейные ли, небрежно отмахивался: *ах, что теперь об этом говорить*. Но и на противном не настаивал, скромно уходил от темы.

Научились разбираться в сырах и в винах, находили подвальчики, в которых таились продуктовые лавки с деликатесами, *если знать места, в Москве все можно сыскать*, приговаривал Женечка. Устраивали подчас богатые приемы, заказывая еду в кулинариях *Пекина* или *Праги*. Но на многочисленных банкетах, которые приходилось посещать, Евгений Евгеньевич по давней привычке недостаточной молодости все равно наедался впрок. Он с грустью вспоминал одного институтского преподавателя, старого блокадника, который, казня себя, не мог удержаться и не собрать в портфель в институтской столовой недоеденный хлеб с чужих столов. А ведь Евгений Евгеньевич изучил теперь все дорогие московские рестораны, но сам для себя предпочитал маленькие и тихие, подешевле, любил китайские, и не из экономии — просто в них, по его убеждению, лучше кормили.

Евгений Евгеньевич часто столовался вне дома, потому что и в новой богатой квартире, кроме случаев торжественных, всегда было шаром покати: Павел, который теперь вел образ жизни исключительно домашний, готовить не умел. И учиться никак не хотел. И в магазин его было не пропереть. Но с собой в рестораны, как правило, Евгений Евгеньевич его не брал. Не брал потому, что чаще всего обедал не один, но с редакторшами или коллегами, занимавшими *посты*, а Паоло взял манеру чуть не доглядишь — напиваться: ему и нужна-то была одна рюмка, как коту капля валерьянки. Так и питался дома колбасой, кефиром да камамбером — по-холостяцки. Точнее, по кошачьи.

Чтобы не слишком отвлекаться от основной линии, скажу здесь только, что именно в те дальние годы в Текстильщиках в жизни Евгения Евгеньевича появился Ипполит. Дело было так: они с Паоло в Эрмитаже остановились в Шатровом зале, у малых голландцев, и где-то между ван Рейсдалом и ван Остаде, на фоне крестьянских домиков в дюнах, столкнулись с Ним.

Евгению Евгеньевичу, помнится, прежде другого бросилось тогда в глаза даже не красивое томное лицо, даже не серые воспаленные, будто всегда заплаканные, глаза, но отчего-то черный приталенный кардиган с разлетающимися длинными полами, сверху застегнутый как глухой сюртук. Ипполит оказался научным сотрудником Эрмитажа, диссертация по флорентийскому Кватроченто, по Мазаччо — быть может, потому, что и сам близился тогда к двадцати семи. Он раскланялся с Паоло, обернулся к Евгению Евгеньевичу и чуть небрежно, но, не заступая, конечно, границы вежливости *а ведь мы с вами однажды виделись. И добавил на лекции у Люмьера, я как-то заглядывал, когда был в столице... В столице* прозвучало по-питерски саркастично. И Евгений Евгеньевич долго еще ума не мог приложить, как же это он не заметил в свое время такого прекрасного Ипполита.

Потом был долгий роман с взаимными метаниями между двумя столицами, с ревностью, слезами, страстями, разлуками и письмами, извещавшими, что *на этот раз все окончательно кончено, кончено*. И следовавшими за этими разрывами новыми непременными приступами страсти. Дело кончилось тем, что Ипполит женился, потому что *хотел ребенка*. Причем же-

нился на подружке Евгения Евгеньевича, дочери одного театрального режиссера, которая некогда в ресторане ВТО увязалась за Женечкиной компанией, осела у него в доме, сдружилась с Паоло, и которую позже Ипполит именно в доме своего друга сердца и подцепил. Или она его подцепила, второе точнее. На первых порах она принялась бешено ревновать одного к другому, и даже, когда уже вышла за Ипполита замуж и перебралась в Питер, аккуратно бегала топиться в Фонтанке, однажды и правда бросилась, извлекали с помощью катера. Почему в Фонтанке — неизвестно, Нева была ближе.

Черед года полтора она родила Ипполиту сына, и тот охладел к Женечке, охладел и остыл. Это был удар, спазм, паралич, но прошло время, боль отошла, они — с немалыми усилиями со стороны Женечки — сделались товарищами. И позже в Питере Евгений Евгеньевич подчас останавливался у Ипполита и коварной бывшей своей подруги в одной из трех их комнат в крошечной коммуналке, но с дивным видом на площадь Исаакия, на знаменитый *Дом со львами* Монферрана...

Менялась погода на дворе, причем в лучшую сторону, Евгений Евгеньевич стал *выезжать*. И как-то незаметно объездил полмира, пока Паоло дежурил в квартире, у того и иностранного паспорта-то не было. Полюбил осень в Амстердаме, когда становилось поменьше американцев, где вот беда, недавно сократили улицу красных фонарей; наизусть выучил Прадо и галерею Уффици, знал что где — что в собрании принцессы Хуаны Португальской, а что у королевы Виктории с принцем Альбертом; Монако не любил — людно и нервно, страшно смотреть на бледные лица проиграв-

шихся потертых леопардов и поживших пантер — лица будущих самоубийц, но иногда заглядывал в Сан-Тропе; на Патмосе они с Ипполитом в гостях, так сказать, у старика Иоанна, чувствовали себя дома. Совершили круиз по *батюшке по Рейну*, как выразился Ипполит, читали друг другу:

*Глядели женщины, обрыв заплонив,
На май, на дивный май, что плыл по Рейну в лодке.*

*Но лодка уплыла, печалуйтесь красотки,
И кто довел до слез толпу плакучих ив...*

И вот теперь, сидя под арестом в роскошной гостинице посреди дикой скифской степи, Евгений Евгеньевич вспоминал молодое божоле в ноябре, когда на парижских бульварах уже начинают жарить каштаны, и где однажды осенью за столиком уличного кафе под жаркой газовой жаровней одна пожилая англичанка приняла его и Ипполита за итальянцев; и фрески в капелле церкви Санта-Мария дель Кармине во Флоренции, на которые Ипполит молился; и горячий глинтвейн на улицах рождественской Вены; и засыпанный разноцветным мусором булыжник площади Сан-Марко с неутомимыми закопченными маврами над головой, неумолимо отбивавшими часы нашей земной жизни; и узкие проулки, кончавшиеся выгнутыми мостами, и саму непрозрачную затхлую воду каналов с плавающей в ней печальной белой маской с красными и зелеными потеками слез, оброненной, видно, каким-то незнакомцем еще в феврале, в дни карнавала... И Венецию, так

долго бросавшуюся с набережных вплавь, так давно обещавшую, как молодая жена Ипполита, утопиться, но все как-то не тонувшую, сейчас отчего-то было жалче всего.

23

Евгений Евгеньевич проделал долгий и неприятный путь. Сначала неудобные и тесные самолетные кресла, ног некуда девать, бизнес класса на этой линии не было; потом роллс-ройс, в котором, хоть и работал *климат-контроль*, неведомым образом было очень холодно и одновременно много пыли. Они катили по бетонной дороге, то извивающейся по сухому каньону, то взбирающейся на холм, кругом было запустенье, лишь изредка мелькали вдали какие-то хижины и попадались отары овец: пастухи глядели на машину из-под ладони, косматые грязно-рыжие овчарки лаяли. Наконец они достигли местности совершенно голой и плоской, и шофер, указывая вперед, повернулся назад к Евгению Евгеньевичу и крикнул:

— Вон он — *Халва* отель!

Евгений Евгеньевич взгляделся. Издалека, из степи отель виделся небольшим и приземистым пирамидальным четырехэтажным строением, похожим на мавзолей. Его фасад был неотличимого от окружающего ландшафта светло-песочного пыльного цвета, а плоскую крышу венчал ослепительно-серебряный купол. При приближении стало видно, что исполнен фасад в псевдо-арабском стиле. Не мавританском, скорее в египетском: какие-то башенки над эркерами, с золотыми

иглами и серебряными полумесяцами, завитушки, вязь и дрянь.

Отель должен был открыться лишь к концу года. Так что Евгения Евгеньевича прислали сюда далеко за годя, *осмотреться и освоиться*, как ему объяснили. Несмотря на то, что он был первым и единственным постояльцем, принимали его так, будто все в отеле уже наладилось и вовсю работало. Встречал сам управляющий, краснорожий приземистый татарин со ртом, полным золота. Когда замерзший Евгений Евгеньевич вылез из авто, к нему первым делом подскочили два боя в малиновой униформе с золотым позументом и подхватили чемодан и дорожный саквояж флорентийской рыжей кожи. Причем пытались сорвать с его плеча и портфель с компьютером, но портфель Евгений Евгеньевич отбил.

Управляющий стоял на крыльце, куда следовало подниматься по насчитывавшей десятка три ступеней лестнице, покрытой, как в Канне, красной дорожкой. Вокруг начальника стояли с полдюжины охранников в камуфляже, только что без автоматов. Несмотря на пронзительный ветер и какую-то ледяную крупу, которую он нес, управляющий был в одном черном костюме, белейшей рубашке и черном галстуке. Неотрывно глядя в лицо Евгения Евгеньевича, он при его приближении раскинул руки, и тот с содроганием счел, что сейчас татарин полезет обниматься. Но нет, тот левую руку опустил, а правую протянул гостю. У Евгения Евгеньевича выбора не было, хоть он терпеть не мог мужские рукопожатия, когда его руку так стискивали, что пальцы немели. Но сейчас он пожал протянутую руку,

оказавшуюся отчего-то заскорузлой, что было странно для топ-менеджера такого заведения. И Евгений Евгеньевич безошибочно понял, что этот татарин — *из родственников*.

— Рады приветствовать дорогого гостя, — мало разборчиво проскрипел татарин. Быть может, золотые зубы ему приделали недавно, и он еще не освоился с новыми условиями артикуляции. — Для дорогого гостя стол уже накрыт.

— Достархан, понимаю, — дурацки пошутил Евгений Евгеньевич, хотел проявить осведомленность в местных реалиях, но татарин, казалось, не расслышал. — Спасибо, но прежде я, знаете ли, поднялся бы в номер. Если позволите... с дороги...

И Евгений Евгеньевич с недовольством поймал себя на том, что его совсем не ханский, а интеллигентский тон мог быть принят здесь как просительный.

— Нет проблем, — грубовато сказал один из раско- сых рослых охранников на чистом русском, — прошу.

И пропустил вперед, а сам последовал за ним. И уже в эту минуту у Евгения Евгеньевича возникло смутное и тревожное чувство подконвойности.

24

Изнутри отель оказался больше, чем виделось снаружи, и производил впечатление скорее неуютное: с первых шагов по вестибюлю Евгений Евгеньевич испытал дискомфорт того сорта, что обычно возникал у него в новых огромных международных аэропортах. И сквозняки. До номера он добрался уже раздраженным,

разбитым и клянущим судьбу. Хотел сунуть десятку вошедшим следом за ним в номер мальчишкам с багажом, но те замахали руками, испугались и убежали. Когда остался, наконец, один, скинул пальто, принялся расстегивать пиджак американского, желтого вельвета, дорожного костюма, как в дверь постучали. Евгений Евгеньевич крикнул *войдите*, но официант был уже на пороге. Тоже татарин, наверное, но молодой, смазливый, улыбочивый. Он молча вкатил на тележке фрукты в вазе и шампанское в золотом ведерке со льдом. Хотя в пору было бы пить коньяк или горячий грог с ромом — в номере стоял хорошо, если не мороз. Официант неловко открыл бутылку, та была действительно холодная, что не удивительно, и пены на багровый палас пролилось мало. Евгений Евгеньевич махнул рукой, мол, спасибо, но официант, молча и таинственно улыбаясь, с выражением доброго фокусника, включил кондиционер, и тут же повеяло теплом. Евгений Евгеньевич кивнул, взял бутылку и убедился — *Veuve Cliequot*.

Официант исчез. Евгений Евгеньевич снял пиджак, зачем-то глянул за оконную занавеску, в пустую степь, и испытал прилив тоскливого уныния. Машинально взял грушу из вазы, откусил и провалился в мягкий диван. Было очень тихо, только чуть слышно журчал кондиционер. И Евгений Евгеньевич, измученный путешествием, мгновенно уснул с надкушенной грушей в руке. А *вдова*, чуть пенясь, медленно вытекала на багровый ковер.

Ему приснился сон.

Будто бы он и Люмьер идут куда-то вместе, а куда — неизвестно. Вокруг неясная, средне русской внешне-

сти, местность. На Люмьере белое кимоно с большим малиновым иероглифом на животе.

— Откуда у вас такое? — спрашивает Евгений Евгеньевич.

— А помните, мы были с вами на китайской выставке, — говорит Люмьер со знакомой иронической полуулыбкой на устах...

Бокал покотился по ковру, Евгений Евгеньевич очнулся. Что бы это значило, подумал он, хотя не верил ни в сонники, ни во Фрейда с Юнгом. Впрочем, отчего приснилось китайское, понятно: *я же на Востоке, черт бы его побрал*. А Люмьер? Странно, но учитель давно ему не снился. Да и почти не вспоминался с тех пор, как кончилось прошлое, и настоящее изменилось. Ушло трепетное любопытство к миру, честолюбивые надежды и предчувствие, что вот-вот ему, наконец, откроется настоящий его *magnum opus*. Его личный путь. Тогда во времена ранних статей он верил в свою миссию распространителя, нет — утвердителя культуры.

Впрочем, нет, *пыл благородных стремлений*, если выразиться по-печерински, иссяк позже, погас вместе с изменой Ипполита, не осталось ничего, как после пожара в Александрии, хоть поначалу Евгений Евгеньевич этого не заметил, не хотел замечать. Да, прошлое закончилось — его неверный Ипполит унес с собой. Осталось настоящее, но лишенное целостности, всё из фрагментов и осколков, которые походили один на другой, меняясь как в калейдоскопе. Жили у бабуся два веселых гуся, ходили в свет под руку, публика в благоговейном восхищении расступалась, один черный, другой русый,

в те годы они были *на ты* с бокалами и кинжалами. Тогда к месту было:

*С детства влекла меня сердца тревога
В область свободную влажного бога...*

Но на сей раз *сердца тревога* завела его в обратном направлении, в противоположное состояние...

Вздыхнув, поднялся, стал исследовать номер. Что ж, он видел мельком на фасаде отеля шесть золотых звезд, и на четыре номер, пожалуй, тянул. Прежде другого — ванная комната. Белые махровые полотенца всяких размеров, и фен на стенке, попробовал — действует. И багрового нутра большая ванна. И хороший рассеянный цвет, как в библиотеке. Туалет здесь же, но за деликатной матовой перегородкой. Освежитель воздуха — ткнул — работает. Из гостиной выход в огромную лоджию с большими дачными пластиковыми столом и креслами, лоджию, на которой сейчас делать было решительно нечего. И еще две двери. Заглянул в спальню: всё в розовом, как будуар провинциальной кокотки, кровать king-size, постель мягкая, подушек много, пуховая перина, шкаф расположен удобно. Аккуратно повесил сменный костюм, разложил белье.

В кабинете на большом письменном столе обманчиво старинного вида настольная лампа зеленого стекла — удобна, и толстая коричневая книга обманчиво старинного переплета, открыл — Коран по-русски, что ж, в скандинавских *шератонах* лежит же английская Holy Bible. И какая-то папочка — поначалу не обратил внимания. Есть еще кресло для чтения, над ним — раз-

весистое бра. Не *Негреску*, конечно, но недельку прожить можно, решил Евгений Евгеньевич. И продолжил распаковывать вещи. Достал пароварку — важнейший предмет в поездках, когда следует особенно внимательно относиться к диете. Поставил на письменный стол деревянный складень с Девой Марией, зачем-то купленный в Иерусалиме на ступенях Храма Гроба Господня у уличного торговца-араба. Вынул склянку французского одеколона *pour homme*, побрызгал на себя и в воздух. Вновь наткнулся на папочку. Раскрыл, это был поэтажный план отеля.

Евгений Евгеньевич никогда не любил всяких планов и чертежей, испытывал неприязнь к регулярному, даже разлапистая разноцветная карта московской подземки с ее перепутанными переходами вызывала у него смутную досаду. Но сейчас открыл обложку, полистал. Коридоры. Номера. Запасные выходы. На пятой странице был, по-видимому, план подвальных помещений, схема коммуникаций, а посередине красная стрелка указывала вниз. Перевернул еще страницу, на следующей был изображен пустой трехмерный куб, а в кубе надпись, лишь одно не понятное, показавшееся Евгению Евгеньевичу загадочным и таинственным, слово, — *кэшэнэ*.

25

Это мы с вами теперь многое знаем о богаче и магнате Равиле Ибрагимове, но Евгений Евгеньевич видел его, как мы помним, лишь однажды. И не знал о нем ничего, кроме странной приверженности того к словеч-

ку *линейно*. Он даже ни сном, ни духом не ведал, что находится сейчас на *малой родине* своего нанимателя. И биографию банкира он не успел — да и успеть не мог — прочитать. Не знал ничего, к примеру, ни про покойного брата Усмана, ни про сестер Дарью и Олесю Сухорук, первая тоже умерла, а вторая выехала в Болгарию на постоянное место жительства. Но и Равиль Ибрагимов тоже не подозревал, скажем, о существовании на свете, на Верхней Масловке сестер Достоевских, а также милого Павла, проживающего жизнь домашнего кота. Или о наличии в мире громкой внучки поэта Тихого.

Но мало того, что Евгений Евгеньевич очень предположительно знал, где он находится, на карте бы не нашел, — он не знал и того, *зачем* он находится здесь. Какое такое поручение он должен выполнить? И почему он должен здесь *осваиваться*? Прошло уже два дня его пребывания в Halva Palace, но ясности не прибавилось, заказчик не торопился с ним связаться и никак не давал о себе знать. И нашему отважному путешественнику оставалось лишь теряться в догадках, строить смутные предположения и стараться выныривать из волн то и дело подступающего страха неизвестности. Не захлебнувшись и не впадая в отчаяние. Он даже целых два дня не брился, а ведь всегда стеснялся грубости растительности на лице — ему казалось, что в отличии, скажем, от Италии, в России молодые люди отпускают усы и бороды от комплекса неполноценности.

Евгений Евгеньевич много пил и много спал. Еду ему поначалу приносили в номер. В огромном холодильнике, который заменял и мини-бар, было много выпивки и стояла — ее Евгений Евгеньевич заметил

не сразу — фарфоровая фаянсовая расписанная драконами коробочка с крышкой. Однажды заметив ее, Евгений Евгеньевич заглянул под крышку, в коробочке обнаружилась какая-то очень мелко порезанная зеленовато-серая травка — анаша, не иначе. Понюхал — точно, она, уж не провокация ли, подумал пуганый Евгений Евгеньевич. И при очередном визите смазливого официанта с фруктами и сладостями, приказал марихуану убрать. Тот удивился, но, все так же улыбаясь вместе загадочно и робко, поставил коробочку на тележку.

— Как тебя зовут? — спросил Евгений Евгеньевич скорее от скуки, чем имея какие-то виды.

— Алим, — сказал официант, продолжая улыбаться. У него были прекрасные зубы и распутно-застенчивый взгляд черных масляных глаз. И сложен неплохо.

— Алим, что ж, — пробормотал Евгений Евгеньевич. И добавил: — Алим линейно.

И подумал *похоже на налим*.

Тот вдруг спросил:

— А вас?

И Евгений Евгеньевич уловил — он этому дикарю интересен. *Нет-нет, не то, откуда здесь*, поморщился Евгений Евгеньевич, но ответил:

— Евгений Евгеньевич.

И махнул рукой. Официант вышел, укатив свою тележку.

Был еще один момент, который Евгений Евгеньевич счел забавным и случайным. Как-то далеко за полночь неожиданно зазвонил телефон, который до того

все время молчал. И грубый мужской голос с каким-то варварским акцентом спросил:

— Не скучаете?

— Скучаю, — согласился Евгений Евгеньевич, не успев понять, что к чему. Это не был голос Равиля.

— Тогда девочки поднимутся.

— Нет, не надо, — быстро сказал Евгений Евгеньевич, сообразив, — не надо девочкам подниматься. Я уже сплю. — *Гадость какая.*

— Не беспокойтесь, за все заплачено.

— Это вы не беспокойтесь, — грубо сказал Евгений Евгеньевич и бросил трубку. Зануда, верхогляд.

Что бы это могло значить. Быть может, ему демонстрируют, что не знают и не интересуются его настоящими наклонностями. Положение было самое идиотское. Евгений Евгеньевич лежал под пуховой периной в тысячах километрах от Москвы, где бросил все дела, и не имел ни малейшего понятия, зачем, собственно, его сюда завезли. Заснуть снова нечего было и думать, *проклятый сутенер*, но откуда здесь могут быть девочки, уж не специально ли прислали?

Евгений Евгеньевич встал и закутался в толстый красный с зелеными клетками архалук, что всегда возил с собою. Сшил этот халат Евгений Евгеньевич на заказ: точно такой, с пушкинского плеча, некогда подарила Наталья Николаевна Нащокину, и сохранился портрет Павла Воиновича в этом кабинетном халате кисти шведа Мазера. Евгению Евгеньевичу казалось, что в этом архалуке он может произвести на мальчишек впечатление важности и монументальности, должны быть польщены, что такой человек на такого сопляка обратил

внимание — жалкие ухищрения стареющего совратителя. Он зажег весь свет, подошел к большому зеркалу, распахнул полы халата, ноги были еще хороши. *Почти как в греческом зале, ухмыльнулся про себя.* Что ж, втайне, собираясь в любое путешествие, Евгений Евгеньевич до сих пор предвкушал возможное приключение. Нет, не платное, только не платное. Да здесь, наверняка, и не было подходящего контингента.

Единственный французский роман, взятый в дорогу, был прочитан. В компьютере были кое-какие тексты, но все давние, в спешке Евгений Евгеньевич не успел закачать новое. Впрочем, он терпеть не мог читать с экрана, *как Александр Первый, подшучивал над собой Евгений Евгеньевич: государь не терпел печатных изданий, и французские романы для него переписывали от руки.* Телевизор, который Евгений Евгеньевич и дома-то включал очень редко, воюя с Паоло, обожавшим викторины для домохозяек, здесь показывал одну единственную программу: то ли по-арабски, то ли по-турецки на экране все время заунывно пели. *Надо попросить, чтобы настроили.*

От безделья и бессонницы Евгений Евгеньевич взял в руки Коран и решил на нем погадать, будто не знал — это грех, нельзя всуе использовать священные тексты. Евгений Евгеньевич вспомнил номер Шатрового зала Эрмитажа, в котором впервые увидел Ипполита: 44. Сорок четвертая сура называлась *Дым*. Надо было выбрать стих. Сколько сейчас Ипполиту? В июне отпраздновали сорокалетие: *Боже, уже и ему сорок.* Сороковой стих гласил: *Поистине день разделения — срок их всех.* Что бы эта галиматья могла значить? *Боже, какой чу-*

шью я занимаюсь, так и спятить недолго, пробормотал себе под нос Евгений Евгеньевич.

26

Утром завтрак привез не вчерашний малый, а немолодой татарин.

— Ага, сменились, — сказал Евгений Евгеньевич добродушно и весело, изображая жизнерадостность и скрывая досаду. — А где же этот, вчерашний, как его, Алим, кажется?

— Его перевели в зал, — сказал татарин бесстрастно. — А это просили передать вам.

И официант положил на журнальный столик небольшой кейс.

Когда он вышел, Евгений Евгеньевич пощупал мягкую глянцевою крышку, поддел одним пальцем, пробуя — открыт ли, и крышка легко подалась. Наверху лежал листок с надписью женским почерком *сто*. Пропишью, с маленькой буквы, в круглых скобках, бухгалтер, наверное. Под запиской — доллары. Много-много уложенных рядами аккуратных пачек. Столько денег *живьем*, как нынче принято выражаться, Евгений Евгеньевич никогда не видел: бухгалтер Маклачука одолженную сумму перевел Евгению Евгеньевичу на счет. И за машину он платил карточкой...

Не без дрожи рук Евгений Евгеньевич взял одну пачку, взвесил на руке, потом зачем-то понюхал — сладко пахло свежей краской, *наверное, только что для меня напечатали*, хмыкнул про себя. Скорее всего, сто тысяч, каждая купюрами по сто. Пересчитать все это

богатство было невозможно. Деньги были уложены по десять рядов, в каждом, следовательно, десять тысяч, Боже мой, не может быть. И, торопясь, будто за ним собаки гнались, спрятал кейс в сейф, набрав шифр — первые пять цифр своего московского телефона. Потом присел к столу в кабинете, написал расписку, поставил число. Да, но кому эту расписку отдать? Убрал в портмоне.

Конечно, очень смущало, что он получает такие деньги не за что, как бы за сам факт своего наличия под небом Востока. Или за факт своего наличия в мире? Именно что *шалъные* деньги. Но больше озадачило другое: отчего Равиль *его кэшит*, как выражаются московские гетеры, отчего *налом*, как говорят нынче даже *порядочные* женщины? Почему не перевел на его счет — даже реквизитов не спросил? Ну да, не отмытые деньги, налоги, всякие бандитские подробности, но он-то здесь причем? Это обстоятельство внушало опасение.

Но было и приятно: во-первых, о нем все-таки не забыли. А во-вторых, уже давно прошло то время, когда Женечка, тогда еще не Евгений Евгеньевич, сочувственно разделял теткин интеллигентские предрассудки, причуды типа *деньги — не главное*. Главное, конечно. И уж вовсе глупо ограничиваться лишь тем, что необходимо. Нужно стремиться иметь лишнее, и как можно больше, это и есть — роскошь, настоящая роскошь. И надо быть как можно ближе к месту, где денег больше всего, а больше всего их, разумеется, в Кремле, иначе получается просто глупо. Евгений Евгеньевич даже за-

был на минуту, что деньги эти не его, даны ему в счет его долга, и что их придется отдавать.

Повеселев и взбодрившись, он решил: *что ж, осваиваться так осваиваться*. И собрался на прогулку. Закутавшись в свое пальто тонкого кашемира, обвязав шею шелковым шарфом, надев шляпу, Евгений Евгеньевич спустился по лестнице, отразившись в вестибюльных зеркалах. Рассеянно глядя туда-сюда, Евгений Евгеньевич вдруг заметил, что по углам здесь установлены камеры наблюдения. *Что ж, подумал, теперь везде...*

У дверей скучал пожилой швейцар отчетливо русского происхождения, новая форма с малиновыми галунами на штанах висела на нем неловко. На его груди мерцали две медали, и он, по-видимому, старался с возможным достоинством нести свою нелегкую долю тунеядства. *Откуда у него медали, войны давно не было*, мелькнуло у Евгения Евгеньевича. Швейцар посмотрел на него удивленно, но ничего не сказал, а открыл Евгению Евгеньевичу дверь и тут же захлопнул за ним, чтобы в гостиничный холл не смог ворвался студеный смерч, несущий песок, птичьи перья и обрывки сухих листьев степных кустарников.

Прикрывая лицо воротником, захлебываясь стильным воздухом, Евгений Евгеньевич завернул за угол и обнаружил метрах в трехстах какие-то строения. Туда вела дорога из бетонных плит, по какой он сюда, кажется, и приехал. Подойдя ближе, разглядел косую вывеску *Первомайский*, а за ней большего размера, возведенную высоко над крышами убогих домов *игральные автоматы*. И чуть дальше, на фронтоне сарая с покатою

крышей еще одна, почти совсем размытая *Чайхана у Рахмона*. А где-то вдали, на другом, наверное, конце поселения можно было разглядеть высокое строение, похожее на минарет.

Он пошел вперед, достигнул окраины, но не увидел ни одного человека. Плешивая собака у чьих-то ворот не обратила на него внимания: может быть, стала не любопытна от старости. Поселок казался мертв. На зале игровых автоматов висела наискось ржавая железка, замкнутая висячим замком. Поглядел сквозь мутное стекло — никаких автоматов в помещении не было, пусто. И решив, что на сегодня туризма с него хватит, Евгений Евгеньевич повернул назад, потому что очень продрог.

27

Он вернулся в отель.

Швейцар почтительно придержал перед ним дверь.

— А что ж в поселке-то пусто?

— Так ведь не живет никто, так, три человека. Старики померли, молодежь уехала.

— А зачем нужен этот отель?

— А этого нам знать не положено,— сказал швейцар с некоторым испугом, как показалось Евгению Евгеньевичу. — Давайте-ка ваше пальто, вас на обед ждут.

Действительно, дверь в ресторан была распахнута. Евгений Евгеньевич переступил порог и замер восхищенный. Здесь все напоминало о *belle-epoque* — бордовые с позолотой стены, портьеры тяжелого бархата,

громадная люстра и зловеще черные зеркала в простенках. Как если бы здесь готовились к поминкам. Посередине зала был обросший золотыми драконами фонтан, в котором полуголая гейша никак не могла сообразить — держать ли ей и дальше золотую чашу со струями или исполнить-таки танец живота. *Картинно*, как выразилась бы одна его немолодая коллега с русской фамилией, доставшейся ей от кого-то из бывших мужей. Она училась в институте двумя курсами младше Евгения Евгеньевича, и уже тогда у нее был насморк. Теперь она часто выступала по радио, но по-прежнему говорила гнусаво, неизлечимый ее насморк не постарел вместе с обладательницей, но напротив — окреп. Кроме *картинно*, ей принадлежали и другие хорошие выражения о спектаклях и исполнителях, которые любил повторять Евгений Евгеньевич, как то *дьявольски застенчив, безобразно прекрасен, непоправимо красив, ужасающе живой* или *задумываясь об этом, вырисовывается картинка*. Когда Евгений Евгеньевич ее цитировал, никогда не забывал указать авторство. Всплыло сейчас ее же высказывание о *Травиате*, которую она обозвала как-то музыкой *рахат-лукумной приторности*, и чем провинился перед ней бедный крестьянский парень Джузеппе из городка Буссето, так рано обнаруживший недюжинную одаренность. Что ж, Евгений Евгеньевич давно научился терпеть посредственность и прощать *снобствующих* окружающих, но теперь, отсюда, из этого степного далека, дурында представилась даже милой. Симпатично домашней, из привычной его, такой далекой сейчас, московской суетливой жизни.

Его усадили на берегу фонтана за стол, покрытый нежного батиста скатертью цвета чайной розы. Серебро и хрусталь. Две вазочки с черной икрой — паюсной и зернистой. Миска с красной едой неясного происхождения, свекла не свекла, скорее что-то бобовое, но — попробовал — не лобио. Свежие овощи и овощи соленые — Евгений Евгеньевич, едва уселся, тут же стащил стебель черемши и пососал. Вокруг него стояли трое официантов, но давешнего смазливого татарчонка Алима, улыбавшегося глазами-маслинами, среди них не было. Один из халдеев изогнулся и налил в рюмку десертного марочного *Мартеля*. Евгений Евгеньевич пожал плечами, но рюмку махнул. Вскоре подали дымящуюся пиалу с жирным бараньим лагманом. *Нет, печень этого не выдержит, придется принимать ношпу.* И когда *Мартель* хотели повторить, гость забастовал, потребовал холодной водки. *Водки, ледяной, хорошей,* скомандовал он, и сам порадовался, как четко у него получилось. Водка скоро явилась.

Как ни странно, Евгений Евгеньевич чуть охмелел, хотя пьянел очень редко. *Коньяк с водкой, вот что,* думал он, поднимаясь в номер. Не успел войти, как в дверь постучали. Евгений Евгеньевич распахнул ее, на пороге стоял Алим.

— Ну, входи! — И Евгений Евгеньевич отступил несколько шагов.

Тот вошел, держа в руках огромный сверток.

— Вы гуляете. Пальто легкое. А вам нельзя простудиться, — сказал Алим со значением и с ударением на слово *вам*. И Евгений Евгеньевич опять отметил, что для

жителя этого глухого края говорит по-русски юноша совсем неплохо.

— Ну, простужаться для любого нехорошо, — процедил Евгений Евгеньевич, пристально и нетрезво глядя на юнца. Ему стала неприятна мысль, что за ним, по видимому, все время наблюдают.

— Это вам прислал хозяин, — сказал Алим, по-прежнему улыбаясь. И быстро развернул сверток. Евгению Евгеньевичу на руки упала, струясь, легкая и мягкая, лисья шуба. Шуба меха роскошно густого и пышного, меха никак не степных поджарых серо-рыжих корсаков, но зверя какого-то лесного кряжа, огненно-красного цвета, в тон опавшей листве. А к ней такой же лисий косматый малахай.

— Что это?! — с притворным удивлением воскликнул Евгений Евгеньевич, будто сам не видел, но возликовав в душе: он всегда мечтал именно о такой, до полу. Дверь закрывалась за Алимом, и Евгений Евгеньевич крикнул:

— Постой, а как... как тебя... как тебя найти?

— Я сам приду, — улыбнулся тот, и дверь закрылась.

Скинув пальто, Евгений Евгеньевич влез в шубу и встал перед зеркалом, покачиваясь. Седая прядь справа. *Дягилев*, подумал он про себя, — когда ему хотели польстить, то говорили, что его сходство со знаменитым антрепренером русских сезонов несомненно, — *вылитый Дягилев*.

Евгений Евгеньевич боялся сниться другим, страшился чужих снов о себе. Особенно, если они снились женщинам, запрещал пересказывать. Потому что считал женщин много чувствительнее и чутче мужчин, им могло присниться что-то такое, чего Евгений Евгеньевич знать о себе не хотел. Да и предзнаменования из женских снов часто сбывались. Впрочем, Евгений Евгеньевич и собственных снов побаивался, но они снились ему с удивительным постоянством, никакое снотворное, никакой алкоголь не помогали.

Своих снов он, конечно, не записывал, но по пробуждению прокручивал в голове, и сны запоминались. Перебирая их, Евгений Евгеньевич пришел к выводу, что основные мотивы его сновидений — потеря и поиск выхода, утраты и блуждания. Иногда снилось, что он не может откуда-то улететь, потому что потерял билет, и подобные сны бывали особенно томительны. Или вот, уже здесь, в степи, в Halva Palace, Евгению Евгеньевичу в первую же ночь приснилось, что ему подарили отрез материи на костюм. Само по себе это было странно — услугами портных он не пользовался, покупал одежду в дорогих бутиках, носил pret-a-porte. Но во сне идет он с этим свертком, сам не зная куда, его гонит какая-то тревога. И вот он оступается и попадает ботинком в какое-то дерьмо определенно красного цвета. Откуда-то взявшаяся жена Ипполита задорно кричит *смотрите, смотрите, Женька-замарашка*, — она и в жизни, бывая пьяненькой, делалась фамильярна. Евгений Евгеньевич хочет отдернуть ногу, но не может, нога увязла. Дрыгая

ногой, просыпается — нога запуталась в пододеяльнике. К чему бы это? Как говорят в народе — *сон в руку*? То, что кал был красным — из жизни, Евгений Евгеньевич всегда тщательно проверял свои испражнения, и вчера они были красны, не геморрой ли, вот не к месту и не во время. Впрочем, бывает ли к месту геморрой?

Этот сон опечалил Евгения Евгеньевича. Он стал думать о том, что Москва, в сущности, очень грязный и тоскливый город. Шумный, вонючий. Город, в котором больше нет ничего от города его детства. Город, в котором не осталось ни единого уголка, где приходила бы мысль о дивной красоте и гармонии мира, даже Нескучный сад умудрились погубить, загадили дворцы, разломали ротонды, спилили вековые дубы. Теперь никому здесь не придет мысль об удивительной способности человека, подобия Божьего, к созиданию прекрасного, *куда там, поди не Италия...*

Евгений Евгеньевич сел на постели, свесил ноги, попал ими в тапочки, дотянулся до халата. Встал, отодвинул оконную занавеску. Вид голой, уходящей за горизонт пустой степи навевал сейчас не тоску, но тоже тихую печаль. Которая согласно восточному мироощущению, суннитскому, кажется, есть благо, поскольку мы печалимся о собственном несовершенстве перед лицом Бога. Здешняя тишина поначалу оглушала, но теперь Евгений Евгеньевич научился слушать ее, различая обертона: тишина переливалась, подчас позванивала, иногда низко гудела. И в этой благодатной печали и тишине нужно бы думать о своих грехах — сколько раз ты кривил душой или, хуже того, сознательно лгал, сколько раз уступил из слабости, когда должен был сказать *нет*,

и сколько зла ты причинил другим людям или хоть огорчил своим высокомерием. Нет-нет, в *отношениях* он бывал деликатен, не мочился в рот партнеру, не обмазывал ему лицо собственным калом, не приковывал к батарее и не стегал плеткой, как делали, было ему известно, некоторые. И никогда не насиловал, всегда по обоюдному согласию, он умел добиваться доверительности. Со своими мальчиками он был добрым, один называл его даже *дядя Женя*, хоть это и вызывало у Евгения Евгеньевича отвращение, перешедшее вскоре в глубокую враждебность...

Евгений Евгеньевич уже почти уверился в своей добропорядочности, как его размышления прервали какие-то звуки, резкие и неприятные в тишине, похожие на шипение. Он пошел туда — телевизор действительно шипел и потрескивал, показывал заставку. Евгений Евгеньевич опустился в кресло и подумал: странно, он определенно телевизор не включал — в первый день только, послушал восточные песнопения и скоро выключил. На заставке витиевато, вязью, но по-русски, было написано: *показывает отель Халва-Палас*.

29

И почти сразу на экране возникло лицо Равиля Ибрагимова. Белая медуза на его бритой голове на экране была особенно отчетлива.

— Вы получили аванс, Евгений Евгеньевич, — доброжелательно обратился Равиль с экрана к Евгению Евгеньевичу. *Ч* в его имени в устах Равиля звучало жестко, не по-московски.

Евгений Евгеньевич нимало не удивился. Он полагал, что современная техника — *новейшие технологии*, так писали в газетах — может решительно все. Впрочем, с тем же равнодушием он относился и к политике. Так человека могут оставлять равнодушным самые хитроумные трюки, коли он совершенно не интересуется их секретами. Тем не менее, Евгений Евгеньевич сделал попытку встать с кресла, как если бы перед ним появился человек, старший по заслугам и положению.

— Сидите, сидите, — продолжал Равиль. — Освоились в нашем отеле? Что ж, теперь можно приняться за работу.

— Я готов, — пробормотал Евгений Евгеньевич, за гипнотизированный. — А когда... когда вы приедете? — спросил он с интонацией младшего брата, забытого на даче.

— Я приезжаю только один раз, — загадочно ответил загадочный заказчик. — И один раз спускаю собак. Повторяю, работа не сложная. А *вам* — так раз плюнуть. Вы должны написать торжественную речь, которая будет произнесена на церемонии. План отеля у вас есть.

Экран погас.

Евгений Евгеньевич запахнул халат и беспокойно заходил по гостиной. Нужно было бы махнуть на все рукой, но ведь он получит еще столько же, вспомнил Евгений Евгеньевич, *напишу-ка я ему эту речь, но для какой церемонии? И что значит хамоватая фраза про собак?* Евгений Евгеньевич погрузился в раздумья. Как можно писать речь, не зная повода. *По какому поводу спич*, спросил он в воздух, ему никто не ответил. Он

громко спросил опять, уж не рассчитывая на ответ: *это будет торжество по случаю открытия?* И опять ответом ему было молчание. Стало муторно — похоже, с ним играют в какую-то игру, правил которой не объяснили. Да, но деньги-то лежат в сейфе, целых сто тысяч — сказочная щедрость. Что ж, решил Евгений Евгеньевич, сочтем это молчание за знак согласия. Итак, речь по поводу торжественного открытия черт знает где и черт знает зачем возведенного шестизвездочного отеля.

Евгений Евгеньевич расчехлил компьютер, установил в кабинете на письменный стол, розетка была расположена удобно, под правой рукой, провод питания не мешал, нажал кнопку — экран осветился. По давней привычке, прежде чем начать работать, Евгений Евгеньевич разложил пасьянс. Сошелся сразу, на экране сверху вниз посыпались розовые лепестки в виде сердечек — хороший знак. И Евгений Евгеньевич быстро, как один он только умел, когда нужно было сочинить рецензию или наметить план лекции, набросал текст. Перечел, не понравилось. И это был уже плохой знак. Если текст не удавалось набросать одним махом, значит — предстояла утомительная работа по переделке, и, чаще всего, всякий новый вариант выходил хуже предыдущего. Скажем, сомнительно, что обращение *дамы и господ* подходило в этом случае. А как у них, на церемонном Востоке, следует обращаться к собравшимся, шайтан его знает.

Надо бы было припомнить что-нибудь восточное, витиеватое, колоритное из Рудаки, что ли, или из Хафиза, или из Омара Хайяма, но причем здесь Хайям. Из

дальнего, забытого угла памяти вдруг всплыло нечто меланхолическое:

*О, как жаль, что пора свежей юности прошла,
Юность прошла, как сверкание молнии, в один миг...*

Откуда это? Кажется, из Джамала аль-Карши, тоже степняка, как и Евгений Евгеньевич нынче, писавшего велеречивую прозу, но подчас сбивавшегося на стихи, однако про *свежую юность* теперь было совсем не-кстати, *сколько ж все-таки дряни скопилось в голове.*

Евгений Евгеньевич прошелся по комнате, налил себе немного виски и написал *дорогие гости*. Да, так лучше, решил он. *Дорогие гости! Дамы и господа! Друзья! Мы рады тому, что вы откликнулись на наше предложение — нет, приглашение — и согласились присутствовать...* Когда Евгений Евгеньевич заканчивал четвертый вариант, за окнами номера потемнело, степной горизонт заволокло, *на Грузию ложится мгла ночная*, и в дверь его номера тихо постучали.

30

Алим был в красной, явно парадной, *выходной* рубашке, и темные его глаза в полумраке коридора блестели слишком ярким блеском. Но алкоголем от него не пахло, наверное, анаши накурился.

— Что ж, входи, — молвил Евгений Евгеньевич, поглубже запахиваясь в халат и вглядываясь в лицо нежданного гостя. Да нет, жданного, жданного, не нужно себя обманывать. В лице парня сейчас не было и тени былой угодливости прислужника, напротив — что-то ху-

лиганское почудилось Евгению Евгеньевичу в этом лице.

Парень вошел боком, будто крадучись, оказался лицом к лицу с Евгением Евгеньевичем, совсем близко, сантиметр до поцелуя. Потом отпрянул, мотнул головой, и попятился, будто скользя по ковру, вглубь номера. Теперь можно было рассмотреть и прочую амуницию: на мальчишке были остроносые желтые туфли, а на шее поверх золотой цепочки — *неужели крест*, мелькнула мысль — болтались наушники от плеера. *Наверное, в таком виде к девкам на свидания бегают*, ревниво подумал Евгений Евгеньевич. У этого самого Алима были маленькие руки, как у обезьяны, а ноги, напротив, крупные, чуть неуклюжие, ступни большие, так бывает у юнцов, пока они не совсем сформировались. Парень подошел к окну, дернул на себя дверь лоджии, она не подалась, тогда он открыл замок и распахнул дверь настежь.

— Что, жарко... тебе?— спросил Евгений Евгеньевич, пожившись под струей ледяного воздуха. Не мог решить, говорить ли этому мальчишке *ты*, получилось интимно, но не *вы* же ему говорить.

Парень обернулся и громко с развязным выражением выкрикнул нечто бессвязное, *вроде вы отдыхаете, а я к вам в гости пришел*. Нет, определенно парнишка был нетрезв.

— Я вижу, — холодно сказал Евгений Евгеньевич.

— Я же сказал, что приду. И вот — пришел. Принимайте.

И он без приглашения уселся в кресло, оставив открытой настежь дверь лоджии.

Развязное поведения гостя очень не понравилось Евгению Евгеньевичу — от парня за версту несло опасностью и провокацией. *Конечно, надо бы его выставить*, подумал Евгений Евгеньевич, но отчего-то медлил. Перевешивало любопытство. И, кроме того, уж очень скучно и томительно ему было одному — Евгений Евгеньевич давно отвык от одиночества, и даже когда работал в домашнем кабинете, Павлуша за его спиной сворачивался, как кот, клубком на диване. К тому же, парень был на редкость хорош, знойно, прямо *неотвратимо красив*, вспомнил Евгений Евгеньевич дурынду. Глаза парня, обрамленные длинными черными ресницами, блестели, будто светились изнутри. И пунцовый рот был пухл, как после долгого поцелуя. *Предложить ему выпить*, колебался Евгений Евгеньевич, незаметно для самого себя приосаниваясь, подбираясь в своем роскошном архалуке. Краем глаза стрельнул в зеркало, седая прядь справа: *хорошо — днем побрился*, в комнате до сих пор стоял слабый запах его французского одеколона.

— Угостите чем-нибудь, господин? — произнес парень, развалясь в кресле, произнес с интонацией уличной проститутки. — Или, может, мне уйти? — продолжил он, видя колебания Евгения Евгеньевича, что прозвучало совсем не к месту и походило на шантаж. Он говорил с интонациями едва ли не издевательскими. Говорил с ленцой, небрежно, с наглостью развращенного и избалованного юнца, чувствующего, что он нравится. Э, *братец*, подумал Евгений Евгеньевич, *да ты не такой зеленый*.

Он прикрыл дверь лоджии и спросил:

— Чего налить: виски, джина?

— А чего хотите, я все пью. Что вы, то и я.

— Сколько тебе лет? — спросил Евгений Евгеньевич, наливая виски в два бокала.

— Два раза по вот столько,— растопырил парень пальцы рук.

— Двадцать?

— Да, двадцать. Не много еще. И не мало.

— Да, уже взрослый...

Евгений Евгеньевич подал ему бокал, а сам уселся на диван напротив. Он внимательно наблюдал за Алимом. Чуть больше чем четверть века разница, впрочем, у него бывали и помоложе. Парень глотнул виски, причем проглотил не сразу, подержал во рту, смакуя, пить крепкий алкоголь было ему явно не впервой. Потом вдруг одним движением оттолкнулся от кресла, взлетел на ноги, нацепил наушники своего плеера и принялся танцевать, извиваясь. Евгений Евгеньевич сидел на диване и смотрел на него — парень был гибок. Взгляд хозяина задержался на разрезе алой рубашки, где проглядывала смуглая безволосая грудь. И поблескивала золотая цепочка. Вспомнил старинную какую-то фразочку: *или крест снимите или надевайте трусы...* Мальчишка поймал его взгляд и рванул рубаху, потом бросил ее на пол, на золотой цепочке болтался золотой медальон. У парня был точеный торс, и Евгений Евгеньевич непроизвольно сглотнул слюну. Парень продолжал танцевать, то приближаясь, то отступая от дивана, на котором сидел Евгений Евгеньевич.

— Что же вы, ловите меня, господин!

Его танец превратился в бурную пляску, похожую на транс, причем немую — музыки ведь Евгений Евгеньевич не слышал. Непроизвольно он протянул к парню руки. Тот было пошел в его объятья, но в последний миг увернулся, подпрыгнул и в секунду оказался на лоджии. Евгений Евгеньевич ринулся за ним.

— Холодно, простудишься, дурачок...

Делая вид, что убегает от него, парень вскочил на перила балкона, не прекращая извиваться. Все произошло в одну секунду: парень оступился, взмахнул руками, балансируя. Евгений Евгеньевич попытался схватить его за джинсы, но ткань выскользнула из его потной ладони. Евгений Евгеньевич еще успел услышать собственный крик *не смей*, как парень рухнул вниз и исчез во мгле, как не было. И тут же послышался звук тяжелого, но глухого удара, как если бы большую спелую дыню уронили на асфальт. Евгений Евгеньевич перегнулся через перила, внизу в лунном свете была видна на земле скрючившаяся фигура, и каким-то чудом Евгений Евгеньевич успел заметить, что одна из желтых туфель соскочила с ноги парня и валяется в стороне...

Евгений Евгеньевич бежал по лестнице вниз, путаясь в халате — халат распахнулся, полы разлетелись, кроме архалука на Евгении Евгеньевиче была одна пижама. С разбега он налетел на сонного швейцара, взглянувшего из своей коморки, и крикнул:

— Открывайте, срочно, там... там человек...

Испуганный швейцар отворил дверь и Евгений Евгеньевич, вопя *скорую, скорую*, побежал вокруг всего строения, и швейцар заковылял за ним, повторяя:

— Да где ж ее здесь взять, нет здесь скорой...

Каково же было изумление Евгения Евгеньевича, когда никакого тела под его окнами не обнаружилось. Ошибки быть не могло: одно только его окно во всем отеле светилось на третьем этаже. Исчезла и слетевшая с ноги парня желтая туфля.

— Убежал, наверное, — сказал Евгений Евгеньевич сбитому с толку швейцару. — Хорошо, не разбился.

— Вам бы отдохнуть, а то невесть что мерещится, — проворчал швейцар, досадуя, что его разбудили. Евгений Евгеньевич, вспотевший, напуганный, пристыженный, кутаясь в халат, покорно побрел за швейцаром, то и дело вглядываясь в его хмурое лицо. Ну да, парень пришел через ресторан, швейцар мог его и не видеть. В номере Евгений Евгеньевич первым делом подобрал с пола оставленную парнем алую рубаху и выбросил ее вон, в окно, следом за владельцем.

31

Следующим утром Евгений Евгеньевич, дурно спавший — урывками, то проваливаясь в сон, то вдруг вздрагивая и тяжело переваливаясь на другой бок — очнулся в тоске от недобрых предчувствий. Чтобы не поддаваться тяжелому настроению, побрился начисто, тщательно оделся, повязал шелковый галстук — при том, что галстуков обычно не носил, лишь по протокольным случаям, проверил — чист ли носовой платок в левом внутреннем кармане пиджака, аккуратно уложил седую прядь направо, — так настоящие джентльмены готовятся к казни. И отправился в ресторан, — номер ему опротивел, здесь было холодно и душно, и сердце

часто билось после бессонницы, *как птица, как пойманная птица*, сказал бы милый добрый Павлуша.

Позавтракал безо всякого аппетита, сжевал бутерброд со сливочным маслом и черной икрой, непременно блюдо с красной чечевицей в сердцах и с отвращением отодвинул. Хотелось выпить, но Евгений Евгеньевич не решился рано утром спрашивать алкоголь у официантов. Так что придется пойти в номер к своему бару. Вернувшись, Евгений Евгеньевич обнаружил, что за время его отсутствия из номера пропал мобильный телефон. А из кармана второго пиджака, висящего в шкафу, — паспорт и обратный билет на самолет с не представленной датой: он положил туда документы для сохранности, чтобы не дай Бог не обронить.

Больше ничего взято не было, хотя в его вещах очевидно рылись. Евгений Евгеньевич набрал шифр, залез в сейф, деньги были на месте. Опустился на диван, и сердце его не просто часто, со сбоями билось в груди, но всхлипывало и рыдало: то, чего он втайне боялся больше всего на свете, страшился всю жизнь, с самой своей порочной мятежной юности, как втайне страшились многие беззащитные люди его предпочтений, случилось — его арестовали. От тоски, тоски и страха, немели руки и ноги — сосуды ни к черту. Пусть не отправили в тюрьму, но иначе, как домашним арестом, это не назовешь. Сдерживаясь, чтоб и впрямь не разрыдаться, Евгений Евгеньевич громко взывал к невидимому хозяину своей судьбы, моля о милосердии. Он говорил, захлебываясь и заикаясь, промокая платком слезы, то и дело выступавшие в уголках глаз, что ни в чем не виноват, что парень по глупости сам сорвался с балкона и

еще что-то, столь же малоубедительное. Но монитор глухо молчал.

Он налил в бокал виски, глотнул, чуть успокоился и принялся рассуждать насколько мог здраво. И так, что ему могут инкриминировать. Первое — он зазвал к себе в номер мальчишку с целью его соблазнить. То, что тот напросился сам, дела не меняет, мог ведь и не пускать, тем более поздно вечером. Угощал его крепкими спиртными напитками, то есть намеренно подпаивал. Далее: спасаясь от приставаний старого педераста, парень выскочил на лоджию. Но совратитель пытался схватить его и там, и парень в панике вскочил на парапет, оступился и рухнул. И, хотя все было не так, совсем не так, но, *глядя со стороны, складывалась такая картинка*, вспомнил он не к месту свою косноязычную московскую коллегу. Евгений Евгеньевич пытался ведь обнять юнца — так с раскинутыми руками его наверняка и зафиксировали камеры наблюдения...

Евгений Евгеньевич мотался по комнате, метался, заставлял себя присесть и сосредоточиться, но тут же вскакивал, его бил озноб. *Герман задрожал как тигр*, вспомнил он невесть почему из *Пиковой дамы*: интересно, где Александр Сергеевич мог видеть дрожащего тигра, не в зоосаде же. И захохотал. Но это был очень нервный, очень не хороший смех, так смеются несчастные люди от безвыходности и отчаяния.

Итак, он пленник. Накинув свою лисью шубу поверх костюма, Евгений Евгеньевич со стаканом в руке вышел на балкон освежиться. Снизу раздались крики, Евгений Евгеньевич выглянул, под самым его балконом, на том месте, где ночью лежало на земле тело Алима, стояла

группа мужчин и женщин. Мужчины были одеты в европейскую одежду, какую носят в бедных мусульманских странах третьего мира, а женщины — в глухо повязанных платках. Они что-то кричали гортанно на своем непонятном языке и грозили кулаками. Женщины причитали, подвывая.

Евгений Евгеньевич подался назад, споткнулся о порог, чуть не упал на спину на ковер, влетел в номер, натолкнулся на стол. Настоящий ужас охватил его. Он бросился к двери, запер ее еще на один замок, придвинул вплотную к двери кресло. Потом невесть зачем задержал плотно все шторы — и в спальне, и в кабинете, и в гостиной. Руки тряслись, ноги подгибались, мысленно он рисовал картину, как разъяренная восточная толпа разрывает его в клочья. Вспомнилась гибель Грибоедова в Персии, но у того хоть был револьвер. И телохранитель казак... Единственным человеком, который теперь мог спасти Евгения Евгеньевича, эстета и театроведа, виньетку на полях культуры, был банкир и магнат, хозяин этих глухих диких мест Равиль Ибрагимов...

В дверь постучали. Сначала деликатно, потом настойчиво.

— Кто там?— спросил Евгений Евгеньевич хрипло, ужас обессилил его. Степень его отчаяния была так велика, так чрезмерна, что Евгению Евгеньевичу уж стало как будто наплевать на собственную судьбу, будь что будет.

— Спасибо, я уже позавтракал, — громко сказал он и вновь поймал себя на цитате, на том, что произнес фразу из *Женитьбы*, нет, там не так, капитан Жевакин отвечает Яичнице *спасибо, я тоже завтракал*. Что еще

может нам помочь в тяжкие минуты жизни, мелькнуло у него, — *литература, одна литература.*

— От хозяина, — ответил ему знакомый голос стальнотубого татарина.

Отодвинув кресло, Евгений Евгеньевич дрожащими руками отпер дверь, предчувствуя, что сейчас на него наденут кандалы, нарукавники или как там у *них* — наручники. Татарин вкатил тележку, на подносе лежал кейс, точь-в-точь такой, как в прошлый раз.

— Обедать ждут в ресторан, — произнес татарин. И вышел.

Даже деньги сейчас не порадовали Евгения Евгеньевича — все равно чужие, он отпер сейф и впихнул туда рядом с первым и этот увесистый чемоданчик, даже не открыв крышку. Тем не менее, сообразил: нет, не все чужие, пятьдесят его. Налил виски, взял банан, сел на диван, и телевизор опять ожил. Как и в прошлый раз, Равиль был доброжелателен.

— Кушайте, кушайте, — сказал он с экрана, — деньги вы получили сполна. Ваша речь понравилась.

То есть они еще и порылись в компьютере, сообразил Евгений Евгеньевич, но этот факт оставил его равнодушным.

— Хороший спич. А ваш... гость, он поправляется. Правда, трудно сказать — будет ли он ходить, — продолжал Равиль ровным голосом. — Поврежден позвоночник, смещение дисков. Линейно. — Теперь это словечко означало не одобрение, а нечто вроде *однозначно*. — Ну, со следствием мы дело уладим.

Ага, я под следствием, подумал Евгений Евгеньевич отстраненно, *вот и славно*. И откусил банан:

он смутно засомневался в правдивости слов Хозяина. Что-то в них было не то, что-то фальшивое...

— Но вам придется у нас задержаться.

— И надолго? — поинтересовался Евгений Евгеньевич, жуя. Он задал этот вопрос спокойно, даже буднично, будто уже знал об этом, будто речь шла не о нем — о постороннем человеке.

— Во всяком случае, до церемонии. Операцию мы оплатим, но тут вот какое дело...

Последнее отбирают, горько ухмыльнулся Евгений Евгеньевич, на минуту к нему вернулась способность трунить над собой. Впрочем, что ему оставалось. О парне всю ночь и все утро он старался не вспоминать, ему не было его жалко, скорее, напротив: ведь это тот стал источником неприятностей Евгения Евгеньевича. Да что там неприятностей, мягко сказано — беды, настоящей беды...

— Дело такое, мы купили собаку, — продолжал Равиль в телевизоре.

— Собаку? Какую собаку?

Упоминание о собаке опять напугало Евгения Евгеньевича. Он вспомнил: *спускаю один раз*.

— Мастино-неаполитано, знаете такую породу?

— Линейно, — хотел ответить, но удержался. Потому что сообразил наконец, что интеллигентное *линейно* заменяло Равилю блатное *в натуре*.

— Большая, с брыльями, слюнявая, поздравляю, — пробормотал он.

— Очень породистый щенок. И очень дорогой. Так вот, я хочу, чтобы вы придумали ей имя. благородное имя.

- Красс, может быть...
 - Не звучит.
 - Но ведь сенатор, полководец...
- Но монитор уже погас.

Это было похоже на измывательство. И куда уж выше, имя патриция, видишь ли, уже не годится. Императорское, что ли, имя давать паршивому псу. Может, Цезарь? Нет не пойдет, собачьих Цезарей и так вокруг слишком много... Вот ведь как все обернулось: он, Евгений Евгеньевич, человек культуры и ума, статьи которого переводятся и в Варшаве, будет теперь сидеть на краю света и придумывать собачью кличку...

Он прислушался, шум на улице стих. Евгений Евгеньевич осторожно ступая, подошел к окну и выглянул наружу, — как бы возвращаясь на место преступления. Внизу под его балконом охранники окружили толпу аборигенов. Сейчас, по-видимому, они выжидали пока мужчины, расстелив на мерзлой земле молитвенные коврики, совершат намаз. Закутанные женщины продолжали глухо подвывать. Евгений Евгеньевич пожал плечами, задернул штору и, унимая нервную дрожь, стараясь из последних сил сохранять чувство собственного достоинства, поправив галстук, пригладив прядь и прямя спину, сошел по лестнице, не глядя на свои отражения. И направился в ресторан.

32

В этом случае мне не пришлось проводить никаких специальных розысканий. Об этом убийстве писали все без исключения газеты, а желтые — так выносили на

первые полосы. Отмечу лишь, что — будто нарочно для того, чтоб не нарушать симметрии моего рассказа — как раз тогда, когда в бестревожные дни Евгения Евгеньевича в *президентском* номере отеля Halva Palace во-рвалась беда, в жизни Равиля Ибрагимова тоже грянули неожиданные перемены. Все шло как всегда: завтрак с одним партнером, бумаги в офисе, диктовка секретаршам, обед с другим, ужин в семье — неукоснительно. Лишь раз в неделю — клубный раут, от которого нельзя было уклониться. Этот распорядок несколько тяготил Равиля, человека действия, но он давно стал заложником своего образа жизни. И едва ли не обрадовался, когда ему сообщили дурные новости из его восточного филиала. Хотя, казалось бы, какие тут поводы для веселья. Но — это был толчок, это заставляло напряжиться, подобное возбуждение испытывает охотничий пес, когда видит, что хозяин собирает рюкзак. И Равиль отправился на усмирение неожиданного бунта.

Ему не пришлось даже существенно корректировать расписание: посещение малой родины и открытие отеля было назначено на конец декабря, и он вылетал всего на три дня раньше. Повторю: не могу понять, как мог предусмотрительный и осторожный Равиль, имевший воистину волчий нюх, не почувствовать, что его заманивают в ловушку. Не навести справок — это было вполне в его силах — и узнать, что все его имущество, остававшееся после распада империи по другую сторону границы, уже захвачено и поделено. Более того, он не придавал значения даже тому, что гражданином новообразовавшейся страны он не был — должно быть,

ему казалось, что подобные бюрократические формальности он легко уладит на месте...

В родных местах он бывать не любил. Как не любил ни свое детство, ни свою юность — их у него теперь как будто и не было. И не бывал в родном поселке с тех пор, как рядом с отцом похоронил мать. И тогда же присутствовал при закладке отеля. Если у Женечки прошлое украл неверный Ипполит, то Равиль со своим прошлым распрощался сам — в один обычный день утром отсек, как ударом клинка. Это было похоже на то, как если бы он умер за чашкой кофе, и тут же, со следующим глотком, родился заново. Одна жизнь кончилась, началась другая. О том, как такое возможно, Равиль не задумывался: достаточно было точно знать.

В самолет охрану не взял, отпустил охранника у входа в VIP-зал, в самолете это одна обуза, а там его встретят.

— Отдохни, Коля. На рыбалку поезжай. Я позвоню, если что.

— Я буду в офисе, — отвечал преданный и трудолюбивый Коля.

— Ну, как знаешь...

Летел с одним кейсом с документами и с двумя чистыми носовыми платками — все необходимое доставят на месте. Никогда не садился у окна, устроился у прохода, соседнее место оставалось пустым. Перед взлетом без понуканий стюардессы, привычно пристегнул бесполезный ремень безопасности: ритуал. Взял из кармана переднего кресла аэрофлотовский рекламный журнал и прикрыл глаза. Взлетели, спустя минут десять в салоне началась суета: стюардессы разносили напит-

ки, пассажирки засновали в туалет. Одна из них, когда самолет качнуло, плюхнулась на Равиля. И тот, открыв глаза, услышал *Равиль, не может быть.*

Всмотревшись, в чертах неюной пассажирки, когда та сняла темные очки, крашеной в красное и в нелепой шляпе, с трудом и безо всякого интереса узнал Дарью Сухорук. Та, напротив, невероятно возбудилась этой неправдоподобной встречей. Равилю пришлось узнать, что его подруга юных лет никакая теперь не Дарья Сухорук, но Дана Кацман, и проживает не в Болгарии, а в Канаде. *Ты был в Канаде?* Пришлось согласиться: да, приходилось. *Гарная, гарная страна, грейт.* Где она там пристроилась? *Так в Торонто же... а ты какой стал, не узнать... мой муж тоже бизнесмен, он сам из Харькова, познакомились на Златых Пясах... ты ведь был в меня влюблен... бывал на Златых Пясах...*

Он опять прикрыл глаза. Ему было совершенно неинтересно, что отец Дарьи давно умер, а маму — кстати выяснилось, что маме-то Равиль всегда нравился — Дана Кацман хотела забрать в Канаду, но та разболелась, и вот теперь она летит ее проведать... *Какая мама, секс-тур,* невнимательно подумал Равиль, *будет строить перед провинциальными молодыми парнями иностранку.*

Когда он сходил с трапа, машина ждала его на взлетном поле. Шофер стоял на стылом ветру, прикрывая собой огромный багровый букет, чтоб ветер не растрепал и не разорил розы.

— Ой, какой ты важный, подбросишь меня в город?

— Это невозможно, извини, — сказал Равиль и, колебавшись, отдал ей несколько цветков.

И сел на переднее сидение роллс-ройса, того самого, который совсем недавно встречал Евгения Евгеньевича на этом же аэродроме с тем же шофером, — в машине он всегда ездил рядом с водителем, охранник сзади.

Но охранника сейчас не было. Это был вопиющий беспорядок, по-видимому, здешние сотрудники отбились от рук, ни на кого нельзя положиться... Однако Дарья Сухорук в девичестве, а нынче гражданка Канады Дана Кацман, беспорядка не заметила. Напротив, она с гордостью уверилась, что ее друг юности стал самым настоящим *русским бандитом*, каких показывает Голливуд в своих фильмах про Russian mafia, и ей будет, что рассказать дома...

Машина Равиля взорвалась, не доехав до отеля меньше километра, на голом месте. Куски железа взмыли вверх и, падая на промерзшую землю, громко шипели. В перепутанных фрагментах тел потом никто не стал разбираться, и их поспешно захоронили вместе. Но предсмертная воля миллиардера была соблюдена: он обрел-таки после смерти успокоение в своем кэшэнэ.

33

Человек, которого Евгений Евгеньевич встретил в ресторане отеля, был мне хорошо знаком — когда-то жили в одном дворе на улице Грицевец, теперь опять Большом Знаменском переулке. Ходили в одну школу имени Фрунзе, в этом особняке нынче Гнесинское учи-

лице, после уроков гоняли в футбол на площади перед зданием Генерального штаба. Увы, только по выходным, по будням там было не протолкнуться от черных *Волг* — черные *Чайки* на площади не задерживались, а въезжали в ворота во внутренний двор.

Звали моего знакомого — я уж упоминал о нем в самом начале рассказа — Сергей, точнее Сергей Виленович, таким имечком в тридцатые его отца наградили бабушка с дедушкой, правоверные коммунисты-евреи, и его следовало бы именовать Сергей Владимирович-Членович. Собственно, Членовичем его и дразнили, отсюда и дворовая кличка — Членок. Впрочем, уже после третьего класса наша семья переехала сюда, на Верхнюю Масловку, где я и пишу эту одиссею, в *Дом с шарами*, так он называется в народе.

Евгений Евгеньевич и Сергей Виленович увидели друг друга и раскланялись можно сказать сердечно — других людей их расы во всей округе было не сыскать, ну, не считая швейцара. Членок, седой и кудрявый, восседал за столом, соседним с тем, который накрывали для Евгения Евгеньевича. И широким жестом пригласил Евгения Евгеньевича присесть к нему. Тот присел.

— Сергей, — представился хозяин стола.

— Евгений Евгеньевич. А вас как по отчеству?

— А, к чему эти формальности, эти наши отчества — один атавизм, язычество. По отчеству друг к другу обращаются только номенклатурные бонзы.

— При этом на *ты*, — поддакнул Евгений Евгеньевич, ему ли было не знать. К тому ж, он за последние дни так измолчался, так истомился одиночеством, что готов был согласиться с чем угодно. — Эта манера им

досталась в наследство от предыдущих хозяев-большевиков.

— Как и многое другое, — добавил Членок. — Согласны, Евгений?

Это была фамильярность актерского, шире — театрального толка, но на актера Сергей не был похож: немолодое лицо обрамлено было бородой, тоже седой, и седыми, желтыми от никотина, усами; на голове между седыми кудрями блестела большая лысина, но на затылке волосы были забраны в то, что в Англии называют pony-tail. Вид был изношенный, *лет на десять старше*, решил Евгений Евгеньевич, но ошибся, Членок — мой ровесник и был старше театроведа лишь на шесть лет. Но постоянное курение и прочие излишества сделали свое дело — Членок выглядел много старше своих лет.

— Сейчас позовем какого-нибудь из этих маугли, пусть ваш прибор переставит.

И снова Евгения Евгеньевича резануло: если б этот господин отмочил такое в приличной стране и в порядочном обществе, его выставили бы за дверь.

Пока официанты переставляли прибор Евгения Евгеньевича, пока накрывали и приносили закуску, тот смог узнать, что его новый знакомец — фотограф. Впрочем, его специальность можно было определить по серому толстому жилету со многими карманами, какие носят люди этой профессии, но Евгений Евгеньевич сделался невнимателен, будучи поглощен своим несчастьем. И что прибыл фотограф сегодня утром с целью запечатлеть интерьеры Halva Palace — для будущего

рекламного буклета. И что убудет ночью — одного дня ему за глаза достаточно.

— А вы по какой надобности в этой усыпальнице? В этой гробнице, в этом могильнике, в этом массагете, как называли это то ли печенеги, то ли половцы. А может, сарматы, не помню. Короче говоря, в этом кэшэнэ, говоря по-здешнему, по степному?

Евгений Евгеньевич вздрогнул — именно это слово и было написано на последней странице плана.

— До Рождества придется остаться, пишу речь, — сказал Евгений Евгеньевич как мог натуральнее.

— А, вы тоже журналист. Приветствую коллегу.

Что ж, Евгений Евгеньевич давно научил себя разговаривать с глупцами, внешне внимательно, но думая о своем, *нашелся коллега*. — Усыпальница, вы сказали? Но отчего ж усыпальница? И чья гробница? Вы, однако, говорите, как специалист...

— Станешь специалистом, когда с антропологами столько по степи проболтаешься. Кости снимал для них, черепки, железяки всякий, наконечники. Одних скифских курганов перелопатили, не дай Бог. А гробница известно чья — хозяйская. Вы что ж, не знали?

— А номера, услуга, этот ресторан, наконец, — сказал Евгений Евгеньевич хрипло, не своим голосом, — зачем все это?

— Ну, для гостей, которые придут на церемонию. Похороны и поминки важных людей у мусульман очень пышно обставляются. А уж если хан преставится...

— А хозяин — он что, разве хан?

— Так его в округе называют...

И Евгению Евгеньевичу вдруг стало ясно, будто шторы раздвинули, что этот полубезумный татарин непременно хочет увлечь его за собой. Намеревается увлечь и погубить, линейно. И сколько ж ждать этой церемонии, он ведь на вид крепкий мужчина. Что, он хочет, чтобы и тело Евгения Евгеньевича осталось в этом мавзолее?

— Вы, кажется, побледнели.

— Нет-нет, ничего...

— Да что расстраиваться, все там будем. Что ж, в нашем-то возрасте... Когда пали дубы и завяли помидоры, как сказано в блоге у Ивана Тургенева. — И фотограф сам жизнерадостно рассмеялся собственной шутке — наверняка, дежурной.

Пошляк: *ишь, в нашем с вами возрасте...*

— Да, канитель, что делать, — отвечал Евгений Евгеньевич невпопад.

— Я задержусь. Поснимаю степь, впрочем, солнца нет, ветер... Вы тоже его поджидаете?

— Кого?

— Хозяина. Он ведь должен вот-вот приехать. Не сегодня завтра. Звонил мне на сотовый...

— Разве, — пробормотал Евгений Евгеньевич как мог равнодушнее. — Выпьете со мной водки? — спросил, наполняя вопреки приличиям свою рюмку первой. Рука дрожала.

— Да нет... Впрочем, разве только одну рюмашку, работа, достала по самое не могу.

— Да-да, работа, — согласился Евгений Евгеньевич, не слушая и наливая соседу, судорожно повторяя про себя *бежать, бежать...*

— За знакомство! А то ведь здесь интеллигентного человека ни за что не встретишь! — сказал Членок и, не чокаясь, выпил.

Евгению Евгеньевичу вдруг представилось, что вечером, когда фотографа будут увозить в аэропорт, он мог бы пристроиться к нему в машину. При этом понимал, конечно, что из этой затеи у него ничего не выйдет. *Взять только саквояж, чемодан оставить, к черту чемодан...*

— Ну, мне пора, еще ни кадра не сделал. Вечером увидимся, — сказал фотограф и поднялся со стула.

— Конечно, конечно...

Евгений Евгеньевич даже не привстал, пожимая вялую руку фотографа, а, пожав, отвел глаза и опрокинул свою рюмку. *Мавзолей себе отгрохал — вот что выдумал хитрый татарин. Безумцы ведь бывают особенно хитры. Все подстроено — отсюда и щедрость, все равно все должно было остаться здесь, в его усыпальнице — и деньги Евгения Евгеньевича, и его шуба... И Алим подстроен, и безутешные родные под балконом подстроены, вот ведь постановщик массовых действий. Бежать немедленно, сквозь землю провалиться, воспарить и исчезнуть, раствориться...*

Увидеться фотографу по прозвищу Членок и Евгению Евгеньевичу, эстету и сочинителю собачьих кличек, не сужено было ни вечером, ни когда бы то ни было. Потому что этот поток гневных разоблачительных мыслей Евгения Евгеньевича прервал взрыв. Причем такой силы, что с грохотом рухнула, сорвавшись с петель, наружная дверь, и в холл ворвался смерч, несший песок,

птичьи перья, катышки овечьего помета, обломки веток степных кустарников и редкие лепестки бордовых роз.

Эпилог

Дорогие гости! Дамы и господа! Друзья! Я рад тому, что вы откликнулись на наше приглашение... Эти слова повторял Евгений Евгеньевич, когда, обезумевший, выбежал в мигом опустевший холл. Что-нибудь узнать толком оказалось уже не у кого: исчез швейцар, исчезла охрана. Евгений Евгеньевич бросился наверх по лестнице. На его этаже все было как всегда — только помаргивал и без того тусклый свет, ставший совсем подслеповатым. Дверь номера оказалась не заперта. Худшие предчувствия охватили театроведа. Он бросился к сейфу, набрал код дрожащими руками, кейсы были на месте — один к одному.

Чемодан Евгений Евгеньевич действительно бросил. И компьютер оставил. Опустошил сейф, но двести тысяч по карманам было не распихать, набил банкнотами саквояж флорентийской кожи

План был таков: по бетонке дойти до кишлака, что на пути сюда из аэропорта — кишлак Евгений Евгеньевич хорошо запомнил, дымки над саклями, или сакли — это на Кавказе? Там нанять хоть машину, хоть арбу до ближайшей железнодорожной станции — несколько тысяч рублей у него были. Да хоть бы и верблюда. И сговориться с проводником, деньги ведь есть, а на самолет без паспорта никак не попасть.

Он шел по бетонке, и скоро стало совсем темно — не видно было и луны. Евгений Евгеньевич чуть не уго-

дил в воронку, оставшуюся после взрыва, но счастливо увернулся, обошел, так и не сообразив — откуда это посреди дороги такая внушительная яма.

Он шел и повторял про себя в такт собственным шагам, чтоб ноша была не так тяжела: *Цезарь, за ним Август, дальше Тиберий и Калигула, Клавдий, Нерон, Гальба, да-да, конечно, он наследовал Нерону, Отон, дальше забыл кто первый кто второй — Вителлий или Веспасиан, Веспасиан, кажется, перед Титом — хорошая, кстати, кличка, Тит для собаки-верзилы, Домициан, наконец, — кажется, все двенадцать.* Светония Транквилла Евгений Евгеньевич, тогда еще Женечка, читал запоем в самые ранние годы, в квартире над кинотеатром *Встреча*, и вот, все, оказывается, до сих пор помнил...

Зазевавшись, больно споткнулся о камень. Посмотрел под ноги, камень неизвестной породы блеснул перед ним своей гранью, и Евгений Евгеньевич понял, что на небе проступили звезды. Нагнулся, взвесил на руке, сказал почему-то: *кажется, и ты не всегда был минералом.* Согласитесь, надо быть в особенном душевном состоянии, чтобы начать беседовать с камнями.

Цезарь, Август, Тиберий, Калигула... Навстречу Евгению Евгеньевичу по бетонке шла одинокая овца, в темноте под редкими сейчас степными звездами она казалась совсем черной.

— Тоже отбилась от стада, — спросил ее Евгений Евгеньевич, — пойдём, что ли, вместе?

Нет, не от стада, от отары, наверное, так нужно сказать.

Овца не ответила, но молча прянула в сторону. Возможно, ее напугал вид Евгения Евгеньевича, его красная косматая лисья шуба, малахай, рыжий саквояж флорентийской кожи. Евгений Евгеньевич, твердя римские императорские имена, в одиночестве двинулся дальше, и вскоре нам почти не станет его видно. А потом Евгений Евгеньевич и вовсе исчезнет в недоброй мгле, что опустилась на пустую холодную степь.

ⁱ журнал "Октябрь" анонсировал публикацию романа в одном из номеров второго полугодия 2010 года